

Вячеслав Репин

**Звёздная
болезнь**

, или

**Зрелые годы
мизантропа**

р о м а н

18+

Вячеслав Репин

**Звёздная болезнь, или
Зрелые годы мизантропа**

«Автор»

1998

Репин В. Б.

Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа / В. Б. Репин — «Автор», 1998

Первый роман автора. Написан в 1992-1998 гг. во Франции. Был опубликован в издательстве "Терра" в 1998 г. Публикуемая версия — новая авторская редакция 2019 г. Этот «нерусский» роман, написанный по-русски, явился предтечей нового явления в современной русской литературе постсоветского периода, для которого характерна «разгерметизация» русской литературы, возврат к универсальным истокам через слияние с общемировым литературным процессом. Роман повествует о судьбе французского адвоката русского происхождения. Выдвигался на премию "Русский Букер", неоднократно переиздавался.

© Репин В. Б., 1998

© Автор, 1998

Содержание

От автора	5
Часть первая	10
Часть вторая	92
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Вячеслав Репин

Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа

От автора

Прологом предлагаемого читателю жизнеописания послужил эпизод из семейной жизни. В начале девяностых я еще жил в Париже. И как-то осенью мне пришлось отправиться в Роттердам по поручению знакомой. Мари Брэйзиер, француженка русских кровей, а еще большей порукой нам служили давние полусемейные, полулитературные отношения, попросила меня съездить в Голландию. Дети Мари нуждались в помощи. Их нужно было препроводить домой во Францию. Брат и сестра, давно уже не дети, а молодые люди, поехали в Амстердам на машине, но на обратном пути случилась непредвиденная, продолжить путешествие они не могли своим ходом. Сама Мари жила тогда на юге Франции – до Роттердама путь не близкий...

Детей Мари я знал еще школьниками, в те времена, когда семейство дружно и беспечно проживало в Тулоне. В то время даже трудно было бы представить себе, что это теплое семейное гнездо, свитое в большом родовом доме, может постичь столь заурадная участь. Дети выросли и разъехались, родители развелись, имущество разделили, прошлого – как не бывало.

До развода с мужем Мари любила устраивать у себя застолья. По воскресеньям я бывал у Брэйзиеров в гостях, дружил с детьми. Когда они приезжали в Париж, я помогал им чем умел, водил в кино, по музеям, в Макдоналдс. С годами контакты становились эпизодическими. Луиза, дочь М. Брэйзиер, поступила учиться на дизайнерский факультет, жила в Париже. Николая, брат Луизы, на три года ее старше, из-под родительской опеки выбился, но как-то слишком не вовремя. И теперь всё больше прохлаждался: разъезжал по заграницам и обещал превратиться в настоящего вертопраха. Мари не переставала на сына жаловаться.

Как раз накануне описываемых событий юный Брэйзиер вернулся из поездки в США, где проболтался около трех лет. Не успев отоспаться от ночного рейса, Николай уговорил сестру поехать вместе с ним в Голландию. Прекрасная, мол, возможность обкатать новую машину матери, только что купленную. Заодно Николай планировал навестить в Амстердаме друзей, да и просто предлагал проветриться, подышать дорожным воздухом. На родине, во Франции, дышалось конечно же не так, как на мировых просторах. Не успел блудный сын вернуться восвояси, как новые приключения опять манили его в туманные дали...

Исколесив Нидерланды вдоль и поперек, брат и сестра уже направлялись обратно домой. По дороге Николай уговорил Луизу остановиться переночевать в Роттердаме, чтобы с утра пораньше продолжить путь без остановок до самого Парижа. В Роттердаме и произошло ЧП. Какая нелегкая понесла обоих кататься на экскурсионном теплоходе, они и сами не могли объяснить. Но по завершении экскурсии, когда теплоход причалил к пирсу, Николай, спускаясь по мостику на берег, оступился и подвернул стопу. Травма была пустяковая – легкое растяжение. Но вести машину Николай не мог.

Сестра, как выяснилось, тоже не могла сесть за руль, хотя давно имела водительские права. Мать не могла отправиться в дорогу из-за срочной письменной работы, которую взяла на

свою голову и которую кровь износу должна была сдать в сроки. К тому же ехать ей пришлось бы через всю Европу... Мари объясняла мне по телефону, что она просила детей, умоляла избавиться от машины, предлагала вообще оставить «гольф» на первой же автостоянке, пусть даже в аэропорту, если нет другого выхода, и напрямик возвращаться домой – самолетом или поездом. Но проблемы горе-путешественников имели, как выяснилось, и другую подоплеку. Все обстоятельства всплыли уже позднее.

Поездка юных Брэйзиеров в Голландию, а именно в Лейден, небольшой университетский город, расположенный к северу от Гааги, оказалась прикрытием. Цель преследовалась куда более прозаичная. Луизу постигли трудности «по женской части». И отсюда уже начиналась целая «история с географией», как распинался позднее брат. Во время рядовой консультации у парижского аллерголога неожиданно выяснилось, что Луиза в положении. Почему беременность выявил аллерголог, Николя объяснить не мог. Что делать и как выходить из «положения», никто будто бы ума не мог приложить. А когда Луиза решила наконец принимать меры, срок беременности стал «критическим». Плод она носила уже больше трех месяцев.

О сохранении ребенка не могло быть якобы и речи. В ближайшее время Луиза собиралась выходить замуж, и вовсе не за виновника своих злоключений. Но главная сложность заключалась теперь в другом: «искусственное прерывание беременности» на столь поздней стадии во Франции запрещено, если к этому нет особых медицинских показаний. Те же законодательные ограничения существуют почти по всей Западной Европе. Менее беспощадной десница закона оказалась, как всегда, в Голландии.

Туда Луизу и направил один из парижских центров планирования семьи, в который ей пришлось обратиться за помощью. После дополнительных собеседований и обследования ей предложили отправиться в Лейден, в одно из дочерних медучреждений, чтобы сделать там аборт...

В конечном счете всё обошлось легким испугом. Частная клиника, облюбовавшая под свои нужды особняк в центре Лейдена, едва ли походила на логово маркиза де Сада. Заведение скорее напоминало дом отдыха. Прискорбные услуги здесь оказывали всего за полторы тысячи французских франков того времени. Дело было поставлено на поток. Обслуживание предлагалось в основном амбулаторное. И даже плату можно было внести в иностранной валюте, клиентам не приходилось терять время на лишние формальности. Поголовное большинство пациентов уже после обеда выписывали...

Оказавшись на улице, Луиза чувствовала себя «не хуже, чем после удаления зуба мудрости», – она клялась в этом брату. Но в действительности ей хотелось «разорвать себя на куски, а заодно и весь мир...» – так она объясняла свое внутреннее состояние позднее.

Чуткий брат решил помочь сестре развеяться. По дороге домой Николя предложил еще немного «проветриться»...

В середине сентября Париж только начинал приходить в себя от благополучной дремоты отпускного межсезонья. Бросать все дела, а за лето их накопилось много, тащиться поездом невесть куда, потратить день непонятно на что... – такие путешествия всегда ни к селу ни к городу. Но отказать Мари я не мог, она редко о чем-нибудь просила с такой настойчивостью. Великое дело – доехать до Роттердама, сесть за руль автомобиля и вместе с шалопаями Брэйзиерами пригнать машину в Париж, не сворачивая с трассы...

На платформе былолюдно. Наблюдая за вокзальной суетой и почему-то припоминая первые строки из «Воспитания чувств» Флобера, где описываются приготовления корабля к отплытию, я едва успел присмотреть себе место в пустом конце вагона, как впереди, в группе

отъезжающих, которая заполнила тамбур перед самым отправлением, мой взгляд остановился на профиле мужчины средних лет. В следующий миг я так и обмер. Грэмм?!

Невероятно, но факт. Крепыш средних лет в костюме и в очках, пытавшийся пристроить дорожную сумку на верхней багажной полке, – это был не кто иной, как Эруан Грэмм, мой давний приятель с московских времен.

Я выбрался в проход, подошел к нему. Грэмм смерил меня невидящим взглядом и в следующий миг, издав грудью булькающий звук, зашлепал губами. Он был ошарашен – *é-rous-tou-flé*. Пришелец из прошлого от изумления выговаривал слова syllabami.

Десять лет, никак не меньше, минуло с тех пор, как Грэмм, рядовой сотрудник французского посольства, заочно продолжавший учиться на юриста, успешно отработал в Москве свой законный срок «альтернативной» службы, освобождавший его от призыва в армию, и отбыл домой во Францию. С тех пор мы так ни разу и не виделись...

Но даже придя в себя, Грэмм продолжал удивляться всему на свете. Моему «возмужанию», моему французскому выговору, будто бы «сногшибательному», что было большим преувеличением. Его удивлял даже мой рост, которым я особенно не отличался, да и не может взрослый человек измениться в росте ни с того ни с сего.

Разговор получался бурным, наверное мы мешали соседям, и я предложил выйти в тамбур. Особого багажа у нас не было, и большого труда не составило добраться до вагона-ресторана. А уже оттуда, молча вышедив по чашке кофе – Грэмм попросил кофе со сливками, а я обыкновенный эспрессо, – мы перешли в вагон первого класса. Здесь было безлюдно, контролеры уже прошли, и мы больше никому не досаждали своей болтовней.

Грэмм ехал в командировку. Ему предстояло сойти с поезда на небольшой станции после Лилля, перед бельгийской границей. В нашем распоряжении было почти два часа...

В те минуты, в поезде, до меня, разумеется, еще не дошло, что в этой встрече есть что-то предначертанное. Смутное чувство, что перед глазами брезжит что-то давнее, забытое, выбеленное из памяти, зашевелилось во мне на мгновение, когда Грэмм, поглядывая в окно, где уже мелькали предместья Лилля, и на свои массивные часы, какие носят уважающие себя боссы, бегло одарил меня новостями из жизни общих знакомых. Куда ни глянь – сплошные перемены и одни неожиданности. Помянул Грэмм вскользь и нашего общего знакомого Вертягина, тоже московского периода, с которым я, как и с Грэммом, перестал поддерживать отношения. Помянул – лучше не скажешь. Это стало ясно из рассказа Грэмма о дальнейшей судьбе Вертягина, довольно неожиданной.

Потомок белых русских эмигрантов, уроженец Франции, Петр Вертягин был выходцем из семьи дипломата. Его отец, Вертягин-старший годы назад тоже работал в России. Еще ребенком Петра Вертягина возили в Москву и в Ленинград. И вряд ли стоило удивляться, что позднее, в зрелые годы, он продолжал бывать в России. Не удивительно и то, что Петр не смог выйти сухим из воды. Частые визиты Вертягина в страну пращуров завершились браком с русской девушкой.

Грэмм утверждал, что карьера адвоката, которая для Вертягина началась успешно, обернулась полным крахом. Скандальный судебный процесс, в который Вертягин якобы впутался как защитник, спасая то ли знакомого, то ли просто утопающего, гибель в Африке компаньона при обстоятельствах так до конца и не выясненных, разногласия среди самих совладельцев адвокатского бюро, основателем которого был Вертягин, кроме того, какие-то личные страсти, сотрясавшие его семейную жизнь, – всё это привело к настоящему фиаско, да и собственно говоря к трагедии. Вертягин попал в автодорожную катастрофу, получил увечья. Венцом всему была потеря памяти. От тяжелой амнезии Вертягина пытались лечить по сей день. При клинике на юге Франции он жил постоянно. Но всех подробностей Грэмм не знал...

Каково услышать, что давний друг стал не то инвалидом, не то умалишенным? В этом невольно чудится какой-то вызов судьбы, проглядывает нечто такое, что невольно заставляет

переоценивать собственную жизнь и прошлое. Мучительное сомнение так и закрадывается в душу: а что, если все мы ходим по краю реального мира, но просто не любим об этом задумываться? Вертягин был самым полноценным, самым здравым человеком из всех, с кем жизнь меня когда-либо сводила. Уж кому-кому можно было бы прочить подобную судьбу, но только не Петру...

А дальше всё складывалось с такой последовательностью, как будто кто-то всё время вел меня за руку, но вдруг решил, что время, отведенное для игры, закончилось. В открытиях, которые мне предстояло вскоре сделать, прослеживалось что-то по-настоящему непостижимое. Предначертанность судьбы – вот где она меня поджидала... В Роттердам я ездил за юными родственниками Вертягина – так получалось. И я почему-то не имел об этом даже отдаленного представления. А сама Мари Брэйзиер, мать горемычных скитальцев, приходилась Вертягину двоюродной сестрой по линии его отца. Оставалось только догадываться, как вообще могло так получиться, что за годы общения с Брэйзиеровым семейством я об этом никогда ни от кого не слышал. Полоса совпадений производила на меня сокрушительное впечатление. А еще больше удивлял тот факт, что благодаря случайному стечению обстоятельств в моей жизни последних лет все концы сходились воедино...

По возвращении из Роттердама я откопал в бумагах старую визитную карточку Вертягина с адресочком в департаменте Ивлин, в поселке Гарн, где он купил дом. Я позвонил по указанному номеру. Ответили незнакомые люди. Дом они купили около года назад. Как связаться с бывшим хозяином, они не знали.

Ни в городском, ни в общенациональном электронном справочнике данных о Вертягине тоже не было. За справкой можно было обратиться в адвокатуру, раз уж он числился когда-то прикрепленным к своей корпорации. Но на эти выяснения могло уйти время, ведь я даже не знал, как правильно сформулировать свое обращение. И я предпочел послать короткое письмо давней общей знакомой, которая годы назад, как и Грэм, работала в Москве в посольстве, точнее матери знакомой, пожилой аристократке, жившей в По, адрес которой мне был однажды оставлен. Я просил передать письмо дочери при первой же возможности.

И вот – везение. Буквально через пару дней эта самая знакомая мне позвонила. Она находилась в Буэнос-Айресе, там теперь и работала в той же сфере. Вертягина она давно не видела. Но она продиктовала мне телефон подруги, которая поддерживала отношения с его родственниками и уж как минимум могла подсказать, где он и что с ним...

Так я и вошел в контакт с молодой парижской художницей, мать которой, Шарлотта Вельмонт, в недавнем тоже парижский адвокат, а по выходе на пенсию жившая в Бретани, оказалась непосредственной свидетельницей последних жизненных перипетий Вертягина. Шарлотта Вельмонт связала меня с семейным врачом Вертягиных мсье Дюпратом, жившим под Каннами. Тучный добродушный пенсионер, Дюпрат давно никого не лечил, кроме своры своих терьеров, но считал своим долгом поддерживать отношения с бывшими пациентами. При встрече он и сообщил мне все последние новости из жизни Петра. За недостающими сведениями Дюпрат посоветовал обратиться к родственнице Вертягина – к Мари Брэйзиер. Круг странным образом замкнулся...

Завершающим звеном этой цепи стало открытие, больше похожее на разоблачение, сделанное мною уже напоследок. «Лейденская беспутница» – на редкость щедро одаренная внешними данными юная особа, которую я доставил матери из Роттердама целой и невредимой, как оказалось, поддерживала с Вертягиным близкие отношения. К моим расспросам Брэйзиер-младшая отнеслась поначалу терпимо. Но как только разобралась, что к чему, стала держаться замкнуто и старалась больше не подпускать меня к своему порогу.

Позднее мне довелось увидеться и с матерью Вертягина. Она же Вероника Крафт, она же Гертруда Шейн (этим псевдонимом она подписывала свои книги), малоизвестная писательница, много лет прожившая на Нормандских островах, в Джерси, и для своих преклонных лет

на редкость экстравагантная особа, – на день моей встречи с ней экс-Вертягина была даже не в курсе того, что стряслось с ее сыном.

Свидание с самим Петром состоялось позднее и уже благодаря усилиям Мари Брэйзиер. Эта встреча оказалась для меня большим испытанием. Но всё по порядку...

Прежде чем перейти к страницам, излагающим последние годы жизни Петра Вертягина с максимально доступной мне достоверностью, я не премину выразить глубокую признательность всем, кто оказал мне помощь, а именно:

Шарлотте Вельмонт, отставному адвокату парижской коллегии; Антуану Дюпрату, домашнему врачу семьи Вертягиных, без любезной и по-настоящему дружеской помощи которого эти строки вряд ли были бы написаны; Мари и Арсену Брэйзиер, родственникам П. Вертягина; Веронике Вертягин – матери П. Вертягина, Сергею Фон Ломову – адвокату, французскому подданному, проживающему в Москве; Густаву Калленборну, адвокату при Версальской судебной коллегии, супругам Жосс, супругам Фаяр из Пасси (Верхняя Савойя); Рудольфу Обри, Марте Грюн и многим другим...

Часть первая

Мое знакомство с Петром Вертягиным состоялось осенью восемьдесят первого года. Фамилия Крафт – его вторая фамилия немецкого происхождения – досталась Вертягину от отца и всегда вызывала у него неприятие, несмотря на то, что Вертягин-старший на протяжении всей своей жизни пользовался и той и другой фамилиями в зависимости от обстоятельств. Как дипломат, верноподданный Франции, Вертягин-Крафт считал, по-видимому, излишним афишировать свои русские корни...

Поздней осенью мне стало известно, что меня разыскивает по Москве иностранец. Незнакомец называл мне в коммуналку по несколько раз в день, оставлял через соседей устные сообщения. В это время я жил за городом и в квартире на Трубной практически не появлялся, поэтому связаться со мной ему никак не удавалось. К тому же соседи сообщили мне о звонках только спустя неделю. У звонившего будто бы был акцент. По одной этой детали я сразу догадался, что меня ждет очередная весточка от дяди, жившего за границей. Музыкант и «невозвращенец», в семидесятых годах тот гастролировал с оркестром в Западной Германии и попросил политическое убежище. Дядя осел во Франции, проживал в Нанте, не все его письма тогда доходили...

Кое-как мне всё же удалось связаться с разыскивающим меня французом, и мы договорились о встрече. Сразу же и выяснилось, в Москве у нас есть общие знакомые. Дома у знакомых первая встреча и состоялась.

Эмансипированная, родом из семьи советских интеллигентов с номенклатурным статусом, Маша К. со школьной скамьи была спаивающим звеном целого клана моих сверстников, которых объединяло не только соперничество за право ухаживать за самой Машей, особой довольно привлекательной, не только модное в те годы ничегонеделание, но и уважение, как кто-то однажды подметил, к неуважению как таковому. Маша жила в центре Москвы. Просторные апартаменты, которыми ее одарило зажиточное семейство, превратились в проходной двор. У Маши постоянно кто-то жил. Постоянно устраивались вечеринки. Прикрываясь положением папы, прожужжавшего уши «литературного» функционера, имя которого у одних вызывало брезгливость, а у других зыбкую надежду, что через Машу в карман всемогущего Дмитрия Ивановича можно подсунуть какую-нибудь письменную просьбочку и заполучить протекцию, Маша принимала у себя даже гонимых, лишь бы гость не был «занудой» и имел бы хоть какое-то отношение к «литературе и искусству»...

Едва ли у Маши оставалось время для работы над диссертацией, посвященной норвежской классической литературе, которую она пыталась осилить не первый год и без видимых успехов, какую бы помощь ей ни оказывали ученые поклонники. Мурлыча от удовольствия, некоторые из редакторов-консультантов от красавицы Маши не отходили ни на шаг. Но именно там, в приполярных широтах Норвегии, след Маши позднее и простыл – будто в назидание случайным литературоведам, да и назло оппортунистам родителям...

Прослышав через знакомых о моих неуклюжих «контактах» с неким Пьером из Парижа, который уже успел побывать у нее в гостях, Маша К. самоуправно перенесла назначенное нами randevu к себе на старый Арбат. Дабы мы не мозолили глаза «компетентным органам» у входа в Московский главпочтамт, как она потом объясняла, и именно перед главпочтамтом этот самый Пьер умудрился назначить мне встречу по телефону. Вечером я пришел к Маше и застал у нее

обычную компанию. Здесь отмечали, как всегда, чей-то день рождения. Но еще больше чем именинника компания чувствовала молодого, лет тридцати, француза с русской фамилией.

«Пьер» просил называть его попроще – «Петей». Я, мол, из того же теста, что и все, русский. Француз Петя сидел у подоконника, благодушно наблюдал за разгулом собутыльников и молчаливо цедил ледяную водку. Он был неразговорчив. Но это объяснялось неловкостью, как я почувствовал, за подзабытый русский язык. Речь его, хотя и без акцента, звучала как перевод с французского. Наверное он это понимал.

Заполучив свою посылку – десятикилограммовый пакет с подпольной литературой, – я поинтересовался у Вертягина, откуда он знает моего дядю.

– Мы мало знакомы. Встречались как-то раз... в Нанте, – невнятно ответил он. – Невысокий? С бородкой? Книги переводит?

– Нет, дядя никогда не занимался переводами. Он музыкант.

Я постарался скрыть свое разочарование, знакомство их явно было шапочным. Отчего и жест в мой адрес с книгами, да еще и при такой тяжести посылки, выглядел действительно джентльменским.

– Я наверное перепутал. – Вертягин на миг оробел и извиняющимся тоном добавил: – Вообще я редко бываю в Нанте.

– Сами вы из Нанта?

– Нет... То есть да и нет. В детстве жил с родителями... А теперь отец там один... Я там начинал учиться. Потом перевелся в Париж... Во Франции можно перейти в другой университет, – вдруг разговорился он, – было бы желание... Нант – это в Бретани, вы слышали?... Симпатичный город. Но провинция – везде провинция.

В подтверждение сказанного Пьер Вертягин не по-русски закивал головой и из вежливости стал разглядывать распакованные мною книги и пластинки. Его удивляло, что в Москве кто-то слушает «Пинк Флойд» и в то же время Гленна Гульда, а кроме того, интересуется корреспонденцией Антонена Арто времен пребывания этого полугения в сумасшедшем доме. Он удивлялся, что в СССР читают романы Конрада, Набокова, Лоуренса. Вертягин был уверен, что за такие книги до сих пор ссылают на сибирские рудники.

С легкой руки той же Маши между нами завязались дружеские отношения. Уже не один месяц я жил за городом, в Переделкино, свою комнату на Трубной уступив родственнику, которого жена выгнала из дому за распутство. Родственник и оплачивал мне в виде компенсации небольшую летнюю дачу – попросту хибару. Вертягина же Маша возила на родительскую дачу, которая находилась неподалеку, в Лесном Городке.

Загородная жизнь Маши в Лесном Городке мало чем отличалась от городской. Здесь тоже постоянно жил кто-нибудь полубездомный. Кто-нибудь обязательно приезжал без предупреждения. Вертягин не выдерживал богемной атмосферы больше двух дней. И стоило ему услышать, что я обитаю где-то поблизости и иногда делаю пешие марш-броски через весь лес, как он мгновенно напросился ко мне в гости. Ему хотелось увидеть «настоящий» русский лес, посидеть у деревенской печки. Но он воображал себе, конечно, что-то свое, далекое от реальности. Переделкинский лес небольшой и совсем не дремучий. Да и в летнем домике, который я снимал, сколько его ни топи, простуду можно было подхватить при малейшей непогоде. Но чтобы развеять иллюзии русского француза, я предложил ему заехать ко мне в ближайшие выходные. От Лесного Городка езды на электричке – считанные минуты.

Вертягин приехал вместе с Машей. Мне почему-то сразу не пришло в голову, что он по-настоящему за ней волочится. Хотя и трудно было не заметить уже бегающие между ними токи, ту особую скованность, граничившую с манией, незаметно изучать друг друга в спину, в профиль, но делать вид, что ничего не происходит, как-то только глаза встречаются. «Наш полуфранцузский друг», как подтрунивала Маша над Вертягиным, явно не понимал, что Маша – ветер. Свежий, но всё-таки ветер, за которым не угонишься.

Я показал свою избушку, участок, приготовил на веранде кофе, а после кофе предложил прогуляться, взглянуть на поселок. Единственной настоящей достопримечательностью в этой незажиточной стороне Переделкина был местный храм, для многих знаменитый. Подворье, прилегающее к нему, – как-никак патриаршая резиденция.

Воскресная служба еще не закончилась, и Вертягину долго не хотелось уходить. Мы пробыли здесь до часу дня. Обедать же пошли в ресторан «Сетунь». Так в те годы назывался недорогой пристанционный ресторан, примыкавший прямо к платформе. На ресторане настояла Маша, и даже сама хотела платить за обед. Ей хотелось разбередить в себе какие-то детские воспоминания, связанные с этим заведением.

На стол с белой скатертью здесь подавали дымящийся борщ. Водку приносили в графине. И всё за считанные рубли. Сетовать приходилось разве что на медленное обслуживание, перебивающее аппетит, на нерадивость официантки, бесцеремонно насчитывавшей себе чаевые, да на грохот проходящих поездов. От содрогания путей и платформы за окном на столе звенела посуда, и с трудом удавалось разговаривать.

На прогулку по лесу, ради которой Вертягин приехал, мы отправились сразу после обеда. От ресторана мы вернулись к ограде моего домика. Лесная чаща начиналась отсюда сразу, хотя и выглядела по краям замусоренной, как случается в парках после наездов воскресной публики. Я повел гостей знакомым дальним маршрутом вглубь небольшого, но живописного пихтового леса. Затем, повернув по тропе в сторону, мы вышли к болотистому перелеску и дальше, уже огибая пустошь и делая километровый круг, через час прибрели к озерам, где местный люд летом купался. Вертягин удивлялся, насколько русский лес похож на немецкий. Похожую «флору» – смесь лиственного леса с соснами, вперемежку с зарослями ольховника – он встречал только в Германии, под Берлином...

К моей избушке мы возвращались уже в сумерки, под конец решив опять взять лесом, чтобы не месить слякоть на исхоженной за день тропинке. В просветах осинового леса уже мелькала моя кособокая ограда, когда Маша вдруг набрела на целую плантацию опят. Несколько палых черных сосен были облеплены темно-коричневыми шляпками. Зима, хотя и поздняя, уже дышала в затылок холодом. По вечерам, а иногда даже засветло переделкинский ландшафт, всё еще непроглядный из-за листвы, далеко не зимний, пробивало заморозками. Ежась от сырости, не зная, как быть с грибами – жалко же оставлять такое добро, – мы топтались на опушке и разглядывали вечеряющий лес сквозь поредевшую сень берез и осин.

Ветви деревьев, стелющийся по земле чахлый кустарник, трухлявый валежник и сам лесной настил под ногами – всё покрылось к вечеру налетом инея. Лес был озарен загадочным, будто изнутри сочащимся голубоватым светом и казался погруженным в столь глубокую, не от мира сего тишину, что каждый шаг требовал усилий над собой. Треск сучьев и даже шелест заиндевелой листвы под подошвами разносился в стороны с какой-то пугающей достоверностью.

Вертягин скинул с себя пальто, связал рукава узлом и стал выкорчевывать грибы с корнями прямо на подкладку. Решил сделать Маше приятное. В его глазах сверкали одержимостью. Наблюдая за его копошением, мы с Машей переглядывались. Нам вдруг было не по себе. Много ли нужно человеку для счастья? В то же время одолевала смутная грусть, вызванная наверное пониманием, что все мы живем в разных мирах, поразительно чуждых и несопоставимых, а при этом мало чем отличаемся друг от друга. От таких прозрений мир как бы уменьшается в своих размерах. И по этой же причине кажется менее ограниченным в своих возможностях. Ну а тот, кому всё это кажется, вдруг чувствует себя обделенным и уж конечно бесправным по большому счету и невыносимо, до отчаяния беспомощным...

С этого дня Вертягин стал наезжать в Переделкино часто. На дачу в Лесном Городке, большую, казенную, уже тогда, кажется, приватизированную, его не тянуло. Всё ему казалось там фальшивым, от натюрмортов с изображением груш и арбузов до запаха постельного белья

и хвои во дворе. Маша не обижалась, тем более что время от времени ей удавалось выманивать к себе и меня.

Мало-помалу я настолько свыкся с визитами Петра, что уже не удивлялся его внезапному появлению с утра на тропинке между соснами. Тропа хорошо просматривалась с веранды. И иногда я даже загадывал сам себе: появится, не появится... Ведь мобильных телефонов тогда не было.

Вертягин всегда приезжал с полными руками продуктов, всегда тащил на себе всё, что мог купить по дороге, – овощи, если местные жители торговали у перрона чем-нибудь со своих огородов, вино, чай, кофе, сигареты. Тем самым он старался мне хоть чем-то помочь, да и избавлял меня от необходимости тащиться в пристанционные магазины, чтобы накормить его обедом, хотя кроме супа я тогда ничего не умел готовить по-настоящему. Вертягин не был белоручкой, не умел бездельничать, не любил просиживать время за болтовней, всегда находил себе занятие: помогал по хозяйству, рылся в книгах, перечитывал газеты и даже готовил. Но одна его черта, приобретаемая наверно с воспитанием, располагала к себе особенно: он никогда не лез в душу.

Он производил впечатление мягкого, но как бы отсутствующего человека. Не исключено, что это объяснялось его врожденной замкнутостью. При этом он вовсе не был интровертом, как в те годы выражались. Возможно, я приписывал ему свои собственные черты или недостатки – в человеке замечаешь обычно то, что в той или иной степени присуще тебе самому. Так или иначе, уже вскоре мне стало ясно, что он воплощает в себе тот самый тип «степного волка», своей особой масти, о котором слышали все, но редко кто распознает эту породу в своем окружении.

Вертягин был сложившимся типом человека-одиночки, который никогда и нигде не смог бы почувствовать себя удовлетворенным, потому что неудовлетворенность всегда в природе человека. Но в то же время он никогда не стал бы требовать от жизни чего-то большего и уж тем более не стал бы требовать от других, чтобы они думали или жили так же, как он. На первых порах знакомства эти качества прельщают. Но позднее всегда чем-то отталкивают. Наверное потому, что начинаешь угадывать здесь душевный холод или какую-нибудь утонченную разновидность эгоизма, а к эгоизму привыкнуть невозможно.

Вскоре я уяснил себе и другое. В жизни Вертягина наступил переломный период, со всеми вытекающими отсюда последствиями: метания из стороны в сторону, потребность «махнуть на всё рукой», «начать с нуля». Поздновато конечно. Обычно это происходит в менее зрелом возрасте. Но подобная заторможенность была типичной для французов, приезжавших в те годы в Москву, это подмечали многие. Почему именно для французов? Загадка. Заезжие идеалисты, вроде Петра, казались приотставшими в своем развитии, избалованными недорослями. И объяснялось это, пожалуй, тепличными условиями жизни у себя на родине. Но только ли этим?

И чтобы портрет не осталась незавершенным, нужно добавить, что Петру не чужды были здоровые внутренние позывы к чему-то новому, какая-то даже мания, как мне казалось, переосмысливать себя и свою жизнь себя. К этому подталкивало гостеприимство, как я считал, и общительность русских людей того круга, с которым он поддерживал отношения в Москве. Потребность в переоценке вещей пробуждалась, конечно, и от самой возможности быть полезным, помогать прямо сейчас и совершенно конкретным людям, которым действительно можно чем-то помочь. А от этой возможности – помогать! – голова у многих шла кругом. Такие были времена.

Смысл и, возможно, даже смысл жизни – вот что скрывалось за расхожим русофильством тех лет. А это то, что необходимо любому человеку, от самого праведного до самого падшего. В Москве тех лет, медленно, но уверенно готовившейся к закату целой эпохи, этот смысл поджидал на каждом шагу...

* * *

Каким ветром Вертягина занесло в Москву в ту осень, он и сам, скорее всего, не понимал как следует.

Многие, кто оказался с Вертягиным накоротке, были в курсе того, что в жизни у него творится полный беспорядок. Дома у себя, в Париже, он учился на юриста. А еще раньше успел завалить учебу на литературно-филологическом факультете. В промежутках разъезжал между США, Парижем и Западным Берлином, болтался по всей Европе, как и многие молодые люди его поколения, кого такая жизнь привлекала и кому она была по карману. На день приезда в Москву с юриспруденцией Вертягин вроде бы завязал, не то решил сделать перерыв в учебе. Позднее, когда среди его московских знакомых стал расползаться слух, что они с Машей оформляют бумаги для заключения брака, всё вроде бы встало на свои места. Вертягину досталось сразу всё – Маша, цель в жизни, нормальные заботы, планы на будущее. Оставалось надеяться, что им удастся осуществить свой замысел без лишних приключений, что было не редкостью в те годы из-за ревнивого отношения властей к своеволию рядовых граждан, особенно если их подозревали в намерении сдуть за границу. Смешанный брак являлся простым и законным способом.

После бракосочетания, состоявшегося той же зимой, родители Маши устроили банкет в ресторане «Прага», который закончился, как и следовало ожидать, разгулом Машиных друзей, приглашенных на празднество в полном составе. Многие из них закладывали за воротник от горя...

Вряд ли Вертягин женился на Маше только по любви. Хотя голова у него и шла от нее кругом. Позднее он поделился со мной, что считал своим долгом, раз уж они сблизились, выполнить по отношению к ней все свои «обязательства». Он хотел дать ей возможность свободно выезжать из страны и, если ей захочется, однажды вырваться в «свободный мир» и поселиться в нем навсегда, с ним или без него – это якобы не имело принципиального значения.

Общения с отцом Маши Петр сторонился. Брак в семье не одобряли. Отец, правда, уже со школы не мог найти на дочь управы. А тут еще иностранец, белый русский, бредовые планы! Если он и не ставил им палки в колеса, то из обывательских, как мне казалось, соображений, которым тоже иногда не откажешь в трезвости. Дочь выходит замуж по крайней мере не за забулдыгу, не за литератора с подмоченной репутацией, который, не ровен час, начнет качать права, и вытаскивать его из омута придется уже буквально за уши. Пьянь и карьеристы – вот и весь мужской контингент страны. Какой здесь выбор для девушки из «хорошей семьи»? Судя же по среде, которая дочь постепенно всасывала, заурядная для русской женщины горькая доля была написана у нее на роду, – если, конечно, не случай.

Вертягин и был этим случаем. И неслучайно со временем папашу как подменили. Он даже стал наезжать на дачу, затеял там ремонт. Француза вдруг стали носить на руках. Петра не переставали зазывать на воскресные дачные обеды, на которые съезжалось уже не просто отребье с замашками, а настоящие сливки общества – потомки конных полководцев, родственники кремлевских портретистов, матерые латинос в звании послов «развивающихся республик» в сопровождении молодящихся жен, похожих на преуспевших спекулянтш с Кавказа, и, как водилось в этой среде, общество непременно удостаивал своим присутствием какой-нибудь загадочный астролог из центра засекреченных исследований, с глазами субъекта, сбежавшего со сто первого километра, что не мешало ему по одним минам сидящих за столом определить, кто из них какого знака зодиака. Вертягин, как умел, отлынивал от этих застолий. Родители Маши обижались...

Петр жил то на Арбате, то в Лесном Городке. Но подолгу не выдерживал нигде. В городе – Машин круг. За городом – соседи-дачники, чуждое родительское окружение. Вечерами на чай к ним зачастил еще и сосед, живший через ограду. Знаменитый поэт тех лет – условно его можно прозвать Запеваловым, – отпетый циник, запойный пьяница, по-своему добрый малый, хотя и «самых нечестных правил», как отзывался о нем Вертягин, Запевалов уже тогда разъезжал по границам, хотя в домашней обстановке крыл режим и власть предрержающую такой руганью, что неискушенный гость терял дар речи – от страха, что угодил в лапы настоящему змею-искусителю, – а самого Вертягина не переставал поносить за его непутевую тягу к сусальной России-матушке, к чайным подстаканникам с изображением кремлевских сторожевых башен, к шапкам-ушанкам, к слезливым березкам, ко всем этим фольклорным обноскам, в которые рядился режим, прогнивший, покосившийся, державшийся на одном честном слове. Колосс на глиняных ногах!.. Сразу же проникнувшись к Вертягину непонятной приязнью, поэт целился ему в лоб указательным пальцем и обвинял его в слащавой инфантильности маменькиного сынка. Вертягин обвинял поэта в заигрывании с властями и в «мефистофельщине». Они могли говорить друг другу всё, что думали. Иногда это оборачивалось руганью на весь вечер.

– Нет, ты всё-таки объясни мне... раз ты такой умный... раз ты такой француз... Какого черта ты сюда приезжаешь? – затягивал Запевалов всегда один и тот же мотив, стоило ему перебраться за столом рюмку-другую. – Водку пить? По бабам шляться? Нюни распускать?..

– Каждый судит по себе... – бурчал другой в ответ. – Вы опять поддали. Я-то тут при чем?

– Ты мне зубы не заговаривай! Не надо! Я же понимаю, не дурак, что ты всё это *презираешь*... – В устах поэта это слово звучало всегда по-особенному. – Дедушка небось с шашкой наголо по крымским просторам бегал, кишки выпускал всякой нечисти. А ты грешки его приехал замаливать? Так он правильно делал, твой дедушка! Спасибо ему скажи! Если бы Антанта, проклятая, не сдула тогда, если бы она в штаны не наложила, мы бы сегодня были процветающей державой!.. Ты посмотри, чего они здесь понаворотили! Позорно... позорно распускать нюни... Правды ты всё равно не видишь. А увидел бы – окаменел бы на месте. Нищета вокруг! Концлагерь!..

– Слова... Позорно живете вы сами... – шел Вертягин на абордаж. – Властям одно место лижете, пишете галиматью, пользуетесь всем этим. Дача у вас откуда? В поте лица заработали? Продались – вот и получили!..

Сказанное за вечер не мешало им на следующий день как ни в чем не бывало здороваться.

Запевалов был женат. Жена, преподававшая в Литинституте, на даче не появлялась. Но поскольку от одиночества он буквально опухал, когда соседи подолгу не звали его в гости – главным образом, из опасения, что чаепитие закончится очередным разгулом, – время от времени он устраивал у себя поэтические чтения, на которые приглашал всех желающих, из тех, кто жил за ближайшими заборами. Развлекать гостей приезжали и юные поэтессы – ученицы его жены и их подруги. Как-то и мы с Вертягиным оказались гостями «чтений». И весь вечер просидели, потупившись в пол.

То ямбом, то хореем декламировались вирши про весеннюю капель, про подснежники и дачные полустанки. С бесконечным заунывным ритмом отстукивающие, точно нескончаемый состав из одних товарных вагонов, когда смотришь откуда-нибудь с пригородной платформы, как он, громохоча, ползет и ползет мимо, – стихи, сшитые из одних клише, были все на одно лицо. Лишь одна из поэтесс, тихая чернявая девушка в вязаном свитере и джинсах, косившая под футуристку, отваживалась на собственные лексемы, но понять из них что-либо было трудно.

Среди зрителей в тот вечер был поэт-туркмен. Тоже знаменитость и тоже в своем роде. Он подливал масла в огонь. Будучи навеселе, со слипшимися от охмеления, утонувшими в щеках глазами, туркмен давился от немого смеха. И непонятно было, над кем он потешается

– над нами с Вертягиным или над Запеваловым и компанией. Чувство юмора у гостя было необычное, какое-то многоуровневое. Минутами казалось, что он смеется над собственным смехом.

Председательствуя, Запевалов восседал посреди гарема, в любимом «испанском» кресле, схватившись кулаками за львиные морды, скалившиеся с подлокотников, и не переставая раздавать царские награды – поощрения самого Запевалова! – которыми вгонял юных поэтесс в трепет. Сменяя друг друга то в чтении, то в обхаживании гостей и одновременно выполняя роль хозяек, девушки пичкали его чаями, вареньем, коньячком. В своей родной стихии хозяин производил впечатление законченного маньяка, совершенно утратившего способность к самооценке.

Дело дошло, как всегда, до обсуждений. Запевалов попытался втянуть в них и нас с Петром. Сообразив, что сухими из воды нам не выйти, я отвесил пару комплиментов. Смелый лиризм, колорит и т. д. Но запутался.

Вертягин, вместо того чтобы целомудренно промолчать, полез меня выручать.

– После Конфуция, Гельдерлина... или, скажем, Новалиса... лично я не знаю, что такое поэзия. Гомера вот только не читал... в оригинале, – стал он объяснять. – Греческий у нас преподавали. Да я хватал двойки. Рифма мешает мне вникать в смысл. Она меня укачивает.

Вряд ли Вертягин хотел бросить камень в огород Запевалова. Но именно так хозяин истолковал его слова. Да и не мог не похорохориться перед юными музами, смотревшими ему в рот. Запевалов опять принялся поносить Вертягина на чем свет стоит. Образовательщина. Дилетантизм. Детская болезнь левизны... Вот они, болезни всего литературного запада и прозапада. Дальше «Облака в штанах» и всяческих «лебединых песен» на исторические мотивы уже не способного судить ни о чем здраво. Запевалов упрекал Петра в эмигрантской чванливости, обзывал его «вечным недоучкой» и даже «олигофреном».

– Презираю! – голосил поэт. – Пре-зи-ра-ю!

Вертягин не обижался. Даже, напротив, оскорбления придавали ему мужественности, уверенности в себе. И они опять начали крыть друг друга. В тот вечер грызня закончилась несурзным пари. Вертягин должен был за неделю выучить русскую стенографию, учебник которой валялся у поэта на подоконнике. В обмен на что, если Петру это удастся, Запевалов взял на себя обязательство не брать в рот ни капли целый месяц...

Через неделю, всем на удивление, Петр действительно научился выводить красивые, размашистые каракули. Когда его попросили расшифровать написанное, он с победоносным видом стал декламировать Фета: *«Право, от полной души я благодарен соседу: / Славная вещь – под окном в клетке держать соловья...»*

Запевалов едва ли был в состоянии сдержать свое слово. В то, что он способен «завязать», никто не верил с самого начала. Но еще через неделю, в результате своих непомерных усилий сдержать слово, данное Петру, он, перестаравшись, попал с инфарктом в кардиологическое отделение Кремлевской больницы. Чувствуя себя виноватым, Вертягин не переставал навещать больного, возил ему зефир в шоколаде – любимое, как оказалось, лакомство поэта...

* * *

Июль и август они с Машей провели во Франции. Она вернулась коротко стриженной, стала носить юбки, чулки пастельных оттенков, кофточки в обтяжку и даже научилась подкрашивать глаза и губы, чем лишь усугубляла свои проблемы. Ухажеры кружили вокруг нее теперь волчьей стаей. И даже мне, при полном отсутствии во мне нездорового любопытства, было известно, что у Вертягина, мужа, было как минимум двое постоянных заместителей, практически уже штатных.

Никто, однако, не раздувал из мухи слона. В том числе и сам Вертягин. Поначалу переживал. Но затем махнул рукой. В конце концов, разве не он намеревался одарить Машу свободой? Разве не он утверждал, что взял ее в жены, а не в наложницы? Ревность он считал пороком, уделом людей слабых, мелочных. Он клялся, что она не в его природе. Но, скорее всего, он просто хорохорился, ведь изменить всё равно ничего не мог.

На этой почве их отношения вскоре и дали первую серьезную трещину. При всей раскрепощенности своих взглядов, Петр, как и многие иностранцы, был связан по рукам и ногам очень традиционными представлениями об этих вещах и не понимал, что за внешним пуританством, которое бросалось в России в глаза с первого взгляда, иногда прячется дикая распоясанность.

Как-то уже весной, приехав в Переделкино около девяти вечера – дело было в субботу, – Петр, не раздеваясь, завалился в мое канцелярское кресло, которое вечерами я придвигал поближе к печке, и впервые с откровенностью заговорил на эту тему:

– То, что она изменяет мне с каждым встречным, это черт с ним... Давно не секрет ни для кого. Но вчера она мне заявляет: Петя, ты, случайно, не того? Не голубой? Что-то о тебе странные вещи рассказывают... Кто? – спрашиваю. Да так, говорит, люди... Теперь вот и за поездки сюда придется отдуваться.

– Меня она не может в этом обвинять, – успокоил я. – Мы знакомы столько лет... А насчет тебя... Вот я, например, что я о тебе знаю? – попытался я свести разговор к шутке.

Вертягин устало ухмылялся.

– Она то же самое говорит. А что, если ты всех нас, Петя, провел вокруг пальца? Говоришь одно. А на самом деле – знай наших...

– Странно, что подозревает тебя жена, – сказал я.

– Не очень я любвеобилен... если уж на то пошло. Наверное поэтому, – сказал он, всё больше смущая меня своей откровенностью; наши отношения никогда не были амикошонскими. – Когда я думаю, что в моей постели день назад нежилась какой-нибудь аспирант или нонконформист...

– Мужское общество ты явно предпочитаешь женскому, – сказал я. – Встань же и ты на ее место.

– Это неправда. Но я всегда верил... в мужскую дружбу, – наивным тоном признался он. – Прекрасный пол – это другое. Совсем другое... Поразительно всё же... У всех здесь одно на уме. Либо ты белый, либо красный. Либо розовый, либо голубой. Честное слово тебе даю, я никогда не встречал столько плотского в людях..., – стал вдруг жаловаться Вертягин. – Такой разнузданности в интимных отношениях я нигде и никогда не видел.

– Если считать русских затюканными, то будет, конечно, чему удивляться. Язычество здесь – основная религия, ты разве не понял? – продолжал я подтрунивать. – Пуританство, разводимое десятилетиями, вот где всему объяснение. Стоит заглянуть за ширму, а там... Ты прав, в тихом омуте черти водятся.

Печь почти остыла, и я пошел за углем. Вернувшись с полным ведром, я всё же выразил вслух предположение:

– Вообще-то это не случайно. Кто-то хочет вогнать клин в ваши отношения, вот что я думаю.

– Зачем?

– Хороший вопрос... Чтобы развалить ваши отношения? Или еще чьи-то. Так пойдет, и вас можно будет брать голыми руками. Будь осторожен.

– Паранойя, – отмахнулся он. – У нее просто больное воображение. Ты плохо знаешь Машу...

На некоторое время их отношения как будто бы вошли в отведенные им берега. Но затем кто-то опять впрыснул в них яд. На этот раз – школьный друг Маши и ее бывший жених. Ни

с того ни с сего он был еще и заподозрен в сомнительных связях. Он как будто бы доносил на ее друзей. Хотя и непонятно, о чем и кому он мог рассказывать, кроме как об извечном и бесповоротном, уже веками, падении нравов в среде богемы. Не исключено, что парня, в свой черед, оклеветали. Художник-авангардист, выставлявший свою фантазмагорическую мазню на Малой Грузинской, где черти делили в то время яблоки, – оговорить его могли для того, чтобы провести какую-нибудь очередную рекогносцировку сил в этой непокорной властям среде.

На сей раз перепало, правда, и мне. Те же абсурдные слухи, что и о Вертягине, распустились также в мой адрес. Художник был лишь инструментом в чьих-то руках. И только в этот момент я осознал по-настоящему, насколько подобные слухи могут быть обидными, когда их грамотно распространяют. Это казалось тем более обидным после стольких жертв, принесенных для того, чтобы не замараться хоть сколько-нибудь.

Вертягин меня успокаивал. Не обращай, мол, внимания. Всё – бредни. Их всё равно никто всерьез не воспринимает. Но расчет оказался верен. Даже сами заверения Вертягина казались оскорбительными. Оставалось сделать вывод, что кому-то действительно нужно было вгонять эти клинья, один за другим, в отношения Вертягина со своим окружением. И делалось это очень топорным методом...

Продолжая продлевать визу с помощью Маши и не без участия тестя, Петр не переставал наводить по Москве справки о том, каким образом он может обеспечивать себя материально. Работать при своем посольстве – знакомые предлагали ему вакансию – он не хотел. Боялся попасть в «гетто» соотечественников. Ради чего в таком случае он уехал из Франции?

Вертягин был уверен, что сможет прокормиться своими силами. Имея кое-какой опыт редактирования, он рассчитывал найти себе применение в нейтральной среде – в представительствах западной прессы, для которых иногда и работал по рекомендации. Как-то раз он переводил для американцев, со съемочной группой ездил в Ленинград. Затем знакомый из агентства Франс Пресс, которому пришлось поехать в Новосибирск, в Академгородок, освещать «светлые страницы взаимовыгодного сотрудничества», нанял Вертягина переводчиком. Петр вернулся в Москву с целым альбомом снимков, на которых позировал в обнимку с космонавтами. Когда же в Москве, позднее, речь зашла об очередном ангажировании в том же качестве, военные в высоких чинах, опекавшие космонавтов, преградили Вертягину вход на пресс-конференцию, а через пресс-службу МИДа дали знать в агентство, что присутствие П. Вертягина в роли переводчика «нецелесообразно», на том основании, что он не являлся профессионалом своего дела; вместо него предлагалась целая рота своих кандидатов, на выбор.

Кроме этих эпизодических заработков, довольно внушительных по московским меркам того времени, – гонорары исчислялись тысячами тогдашних рублей, – Вертягин рассчитывал на заказы по редактированию переводных изданий и даже собирался писать рецензии на ширпотреб, штампуемый на французском языке внешнеэкономическими ведомствами, воспользовавшись рекомендацией одного из знакомых Маши, и отказываясь понимать, что ему никто не будет там выплачивать таких гонораров, как за работу с космонавтами. Затея так ничем и не обернулась.

Подытожилось всё вскоре логичным образом. Я как в воду глядел. Однажды во время приема в отделе виз в Колпачном переулке принимавший Петра сотрудник в звании майора, уже знавший его по прежним визитам, разговорившись со своим подопечным о его московском житье-бытье, услышал от Петра, что он был бы не прочь устроиться в Москве временно на работу.

Офицер с красными погонами принял его нужды близко к сердцу. Он пообещал поговорить с кем-то из своих знакомых, в частном порядке. Один из его друзей был якобы журналистом и мог удружить дельным советом. Овировец оставил Петру свой домашний телефон и попросил позвонить через пару дней. Предложение не вызвало у Петра вопросов. Он полагал, что тот проявляет обыкновенную любезность, только и всего. И когда Петр действи-

тельно напомнил о себе звонком через пару дней, сотрудник отдела виз заверил его, что знакомый журналист, некто Василий Петрович, согласен похлопотать. Василий Петрович был якобы истым франкофилом и рад был случаю оказать джентльменскую услугу французу. По счастливому совпадению, как раз в это время Василий Петрович подыскивал кандидата с профилем Вертягина для конкретного дела. Речь шла об издании «подборки» на французском языке в одном из госиздательств. Василий Петрович был готов встретиться с Вертягиным и обсудить, что к чему. Он хотел выяснить, на что тот способен.

Встреча состоялась на Чистопрудном бульваре. По рассказам Петра, Василий Петрович оказался компанейским малым не старше сорока. Достаточно было пяти минут оживленной дискуссии, чтобы понять друг друга. Василий Петрович, недолго думая, предложил Вертягину написать статью о правовых новшествах в современном французском законодательстве, распространяющихся на сферу социальной защиты населения. После этой статьи – по привычным для меня меркам оплачиваемой слишком щедро – Василий Петрович обещал другие аналогичные «заказы». Имелся якобы настоящий «спрос»...

Всё это происходило поздней осенью. Я оказался в отъезде и некоторое время был не в курсе происходящего. Затея со статьями, естественно, забуксовала. Тема, предложенная Петру, была необъятной. Без серьезной документации под рукой осилить такую статью вряд ли было возможно. Вместе с тем тематика отдавала «тенденциозностью». Нужно было быть полным идиотом, чтобы не понимать, к чему всё идет. Петр не знал, как потактичнее увернуться от дружеской опеки Василия Петровича. Но риск манил, как сам он позднее признавался, подобно тому, как манит к себе иногда пропасть, распахивающаяся под ногами.

Переговоры Петра с Василием Петровичем завели, как и следовало ожидать, в тупик. Во время очередной встречи тот неожиданно предложил Вертягину выложить карты на стол. Василий Петрович сразу подал пример. Он стал объяснять, что журналистом он был лишь по совместительству. В звании подполковника он давно состоял на службе в том самом учреждении, которое на людей малограмотных и несведущих наводит тихий ужас, а еще точнее, при 5-м управлении этого учреждения, которое «обслуживало» наведывавшихся в страну иностранцев – простофиль вроде Вертягина, и, если не ошибаюсь, свою собственную пятую колонну. Василий Петрович уверял при этом, что не так страшен черт, как его малюют.

Поначалу мягко, отеческим тоном, а затем уже не церемонясь, Василий Петрович припер Петра к стенке. Выбор ему предлагался простой – проще пареной репы. Либо он соглашается оказывать мелкие «одноразовые» услуги. Либо «лавочка закрывается». Раз и навсегда. Сколько можно? Никаких больше продления виз. Никаких больше круизов с женой за пределы страны.

«Одноразовая» услуга заключались в сборе сведений личного характера об одном из преподавателей Высшей школы магистратуры в Париже. Кроме того, Василия Петровича интересовали сведения об одном из сослуживцев отца Петра, дипломате. Как и личные впечатления Вертягина о некоем Томасе из посольства, который являлся сотрудником отдела культуры. С кем водится? Зачем разъезжает по всей стране? Почему водит к себе домой «путан» из Хаммеровского центра, при своем полном равнодушии к слабому полу? Прикрываясь будто бы нелегальной скупкой антиквариата – бесценное добро скупается якобы по всей Москве, за любые деньги, и беспрепятственно вывозится во Францию в опечатанных дипломатических контейнерах, но лишь для отвода глаз, – тот якобы работает не покладая рук на спецслужбы.

Позднее Петр рассказывал мне, что при всей карикатурности своего положения и несмотря на некоторый холодок, который не мог не пробираться до костей от столь резкого поворота событий, комбинатор из 5-го отдела Василий Петрович не вызывал у него отталкивания. Он делал свою работу. И скорее всего, даже преуспевал в своем деле.

– Сожалею, дружище, что так вышло, – стал тот извиняться. – Я знаю, что ты никому зла не делал, что ты неплохой парень. Но не мы с тобой этот мир придумали. Не мы его изменим. А жить в нем предстоит вместе. Так что выбирай. Главное – не драматизируй.

Что касалось преподавателя парижской Школы магистратуры, Петр не мог взять в толк, кто и как мог рассчитывать на него, помимо самих заблуждений на его счет лично, в реальном получении через него подобных сведений. К Школе магистратуры он не имел никакого отношения. Слышал о том, что есть такой преподаватель, с названной ему русской фамилией. Да один его знакомый по Парижу действительно учился когда-то в этом заведении. Каким образом из него, Вертягина, собирались выкачивать сведения? Какие именно?

Аналогично дело обстояло и со знакомым отца, который служил при министерстве внешних сношений Франции (так называлось в те годы министерство иностранных дел). На правах многолетнего друга и сослуживца этот человек действительно бывал у отца дома. Но и здесь расчеты Василия Петровича и тех, кто стоял за ним, отдавали несуразностью, почти загадочной.

Что же касалось Томаса из посольства, Петр поддерживал с ним отношения поверхностные. Томас благоволил ему, потому что одна его родственница была знакома с матерью Петра, писательницей, а отец был дипломатом и мог, вероятно, посодействовать по линии своего министерства в продвижении по служебной лестнице. Шефство Томаса над Петром заключалось в том, что тот изредка возил его в Серебряный Бор на дачу посла, в выходные дни предоставляемую в распоряжение рядовым сотрудникам посольства, всем поочередно, где они играли в пинг-понг, да время от времени служил ему кассой взаимопомощи – давал денег взаймы, получая от него в гарантию банковские чеки, которые инкассировал во время поездок в Париж на свое имя.

Позднее Петр рассказывал мне, что в отношении Томаса все, вероятно, соответствовало действительности. Василий Петрович «сливал» ему правду. Однажды пригласив Вертягина поужинать в «Метрополь», воспользовавшись тем, что они вместе отправились в туалет, Томас прямо спросил его, не хочет ли он «помочь родине».

Петр ответил, что готов помогать кому угодно, но просил не взывать к его патриотизму. Чувство родины ассоциировалось у него не с приростом валового продукта Франции, от которого страна еще богатели в те годы, не с ее военными, космическими и прочими достижениями, – пока она чесалась, кое-кто уже разгуливал по Луне, руки в брюки... – которые могли быть, не ровен час, скомпрометированы деятельностью темных иноземных сил, а с выбором сыра на прилавках французских магазинов, с бутылкой хорошего «Côte-Rotie», с раскрашенными в райские цвета закатами Прованса, но этими чудесами можно любоваться на всех южных широтах Западной Европы.

Мне остается лишь засвидетельствовать, насколько Вертягин приbedнялся. Он почитал Францию, и в том числе за ее достижения, хотя и без показного патриотизма. Он считал, что ему повезло родиться в столь благополучной стране в период ее послевоенного расцвета – в стране, народ которой не способен рвать на себе рубашку по всякому поводу и без повода, не любит выставлять напоказ свою гордыню, не умеет отстаивать свою независимость на поле брани и не способен, если разобраться, сложить кости за идею. Но за счет тех же слабостей он и является исконно миролюбивым, обладая редчайшим, чуть ли не зоологическим даром созидания...

Зимой, в самый разгар холодов, у меня на даче задымила печка. Топить по ночам я побаивался – можно было не проснуться от угарного газа. Протянуть же на одном электрообогревателе уже не удавалось. На несколько дней, пока моя хозяйка разыскивала своего брата, обещавшего привести печку в порядок, Петр позвал меня в Лесной Городок, где он жил в то время безвыездно.

Он выделил мне дальнюю комнату, где обычно ночевали гости. Из окна была видна дача и двор соседа Запелалова. Время от времени я видел, как тот появлялся у себя на веранде и, подолгу глядя на наши окна, замечая в освещенном окне чей-то силуэт, мой или Вертягина, начинал нам показывать кулаки. Я, мол, вам покажу, где раки зимуют, диссиденты! После боль-

ницы Запевалов успел побывать за границей, но страдал, как жаловались Вертягину другие соседи, дисфорией. Иначе говоря – беспричинным озлоблением.

Здесь я и провел праздники. Встречали мы Новый год все вместе. Приезжала Маша с друзьями – томная, опять похорошевшая, опять было решившая «вернуть всё вспять» в своих отношениях с Петром. Однако уже на второй день они что-то не поделили. В новогоднюю ночь поэт устроил в своем дворе настоящий фейерверк, – вернувшись с «гастролей» по Восточной Германии, он привез оттуда целый чемодан петард. Праздники отгремели, а моей хозяйке всё не удавалось привести печку в порядок. Мне пришлось остаться в Лесном Городке еще на две недели.

В январе Петр ездил в город редко. Если что-то и заставляло его бывать в Москве, то он уезжал с утра пораньше и возвращался засветло, то есть практически в послеобеденное время, так как дни стали совсем короткими. Уехав как-то по своим паспортным делам – был канун православного Рождества, – он застрял непонятно где до самой ночи.

Волнуясь, я бродил по дому. Потом оделся и вышел чистить дорожку, хотя бы от ворот к крыльцу. За окном валил сильный снег. Вдали прогремела последняя электричка. Было около двух часов ночи.

До Лесного Городка теперь можно было добраться только на машине. Но кто ночью, да еще в такой снег, поедет из города в дачную глухомань? Минут через десять за воротами, однако, послышался скрип шагов по снегу.

На Киевском вокзале никто из частных, как я и предполагал, не захотел тащиться за город, и Петру пришлось дожидаться последнего поезда. В вагонах почти не было отопления, и он продрог до костей.

Спать нам не хотелось. Он заварил чай. Но вместо чая предложил выпить по рюмашке. Сходя за бутылкой на улицу – он любил припасать бутылку водки в снегу на морозе, прямо под крыльцом, – он сел за стол и произнес:

– Сегодня состоялся заключительный акт.

– Тебе визу не продлили?

Он действительно успел побывать в отделе виз. Принявший его сотрудник – знакомого на месте не оказалась, – вернул ему паспорт без визы, пожурился за нарушение паспортного режима. В ОВИРе было известно, что Петр жил не у жены, не по тому адресу, который указывал в документах. Единственный выход на будущее – оформление вида на жительство. Так ему посоветовали. Но для этого ему необходимо было вернуться домой во Францию и делать запрос из Парижа.

– Это не самое страшное, – сказал Петр. – Я виделся с Василием Петровичем.

– Опять?!

– Он позвонил, хотел побеседовать. Для этого я и ездил. Виза... Это уже потом стало ясно.

– Отказаться ты постеснялся... – упрекнул я.

– Я предпочитаю брать быка за рога.

– За рога берут тебя.

Он усмехнулся и стал рассказывать подробности:

– Я не понимаю, всерьез или так, но сегодня мы говорили обо всех подряд... Они всех вас знают наперечет. Ты в списке. И знаешь, как тебя там называют? Вечным дачником.

– Простить не могут... за дядю, который смылся. Но это не ново, – сказал я.

– Да нет, их вроде другое злит. Ты через Грэмма рукописи переправлял? Было такое?..

Он их почтой с главпочтамта, что ли, посылал?.. Надо же быть такой бестолочью! – выругался Вертягин, имея в виду не то Грэмма, не то меня. – На твоём месте я бы не обольщался такой дружбой. Грэмм, чтобы ты знал, любит две вещи – себя и свое благополучие. Он запасается

клубникой на зиму. Покупает ее летом на базаре и держит в морозильнике всю зиму... не знал об этом?

Я скептически помалкивал.

– Одним словом... Василий, комбинатор, мне так и сказал: «На этот раз ты уедешь без продления визы. Единственная возможность вернуться в Москву – это привезти всё то, о чем тебя попросили...» Сам факт обращения за визой в консульство в Париже будет якобы означать, что я согласен с их условиями... Как тебе такой сценарий?

– Вы давно уже на «ты» с Василием Петровичем? – спросил я.

– Какая разница? Я тебе объясняю... русским языком, что мне показали на дверь, – вспыхнул Петр. – Меня выдворяют... Так это называется?

– Так не выдворяют, – сказал я. – Ну уедешь... Через два-три месяца о тебе забудут.

Таких, как ты, здесь пруд пруди.

– Легко сказать.

– Когда они начинают так обрабатывать человека, у них есть на это причины.

– Например, какие?

– Может, им отец твой нужен?

– При чем тут отец? Старик. Трубит в министерстве, сидит в подвале, – отмахнулся Петр. – Кому он нужен?

– На твоём месте я бы, не раздумывая, ехал домой, – сказал я после некоторого раздумья, – причем ни дня бы не откладывал.

– А Маша?

– Отец не даст ее в обиду. Всё отстоит. Через некоторое время вернешься. Не могут же они не пустить тебя назад.

– Почему не могут?

– Времена давно не те.

Петр помолчал, а затем его как прорвало:

– У тебя всё просто... Плюнуть на всё, хлопнуть дверью. Так вы все и делаете. Да что вы все себе вообразили?! Что там рай? Что только о вас там все и думают? Да понимаешь ли ты, что всем наплевать на вас? Лишь бы вас не видно было и не слышно...

– Иначе загребут, – пригрозил я. – Тебя завербуют.

Но остановить его уже было невозможно:

– Все вы заодно. Все вы сидите и ждете, что какой-то дядя придет и всё за вас сделает. Всё изменит! – Петр делал явную аллюзию на моего дядю, жившего в Нанте. – Вода не течет под лежащий камень. Вы привыкли делить друг друга на «мы» и «они». Да кто такие – вы? Кто такие – они? Этот Василий, из 5-го отдела, видел бы ты – такой же, как все. Нормальный парень. Просто дурак. А может быть, дети у него, семья. Ведь их кормить нужно. В какой стране можно жить вот так, как ты живешь? Сидеть, рыться в книжках! Снежок подметать под Шестую симфонию! Мышей морить по углам! А остальное – пропади оно пропадом! Конечно, всё относительно. Я не сравниваю. Но всё же... Поверь мне, там, во Франции, на Россию всем начхать. Там любят несчастную Россию. Любят смотреть по телевизору «Доктора Живаго», состряпанного в Голливуде... с Омаром Шерифом в каракулевой папаче... Но по духу вы им чужды. Вас боятся как огня. Вы – антиподы. Однажды увидишь, когда всё рухнет. Когда всё встанет на свои места... здесь, в Москве... ты вспомнишь мои слова... Но ты прав. Программу пора сворачивать...

Я так и не понял, почему никто, кроме меня, не поехал проводить его в аэропорт. Напоследок он что-то невнятно мне объяснял, но я уже не вдавался. Как бы то ни было, в Шереметьево, перед перегородками таможенного зала, мы топтались с ним вдвоем.

Вещей у Вертягина было мало, один небольшой чемодан. Петр хотел было отдать мне оставшиеся у него рубли, но решил облагодетельствовать носильщика, которого мы взяли,

выбравшись из такси, непонятно зачем – не успели отвертеться. Всунув в пятерню ушлого на вид малого две купюры, Вертягин млел от удовольствия. Нагловатый, с задоринкой в физиономии, тот едва не отвесил ему поклон и, решив, что за рвение ему могут прибавить еще, схватил чемодан и стал проталкиваться без очереди, мы едва его остепенили.

Уже за стойкой, пока офицер таможни просматривал содержимое чемодана, Вертягин приблизился ко мне и с виноватой миной произнес:

– Я тебе напишу. Тебе позвонят... – и шепотом добавил: – Пароль назовут такой: «Хорошо там, где нас нет». Только не забудь...

* * *

Из двух или трех писем, полученных от Вертягина после его отъезда – передавал их всё тот же Грэм, еще на некоторое время застрявший в Москве, – трудно было составить ясное представление о том, что Петр решил делать, как собирается жить дальше. Судя по всему, с Москвой он решил повременить – главным образом из-за того, что с Машей у них ничего не получалось. Затем он вроде бы вернулся на факультет, решил завершить юридическое образование. Уже вскоре стали доходить слухи о том, что они таки затеяли с Машей развод – заочный, опять требующий оформления несметного количества бумаг. Глядя на происходящее со стороны, знавшие их люди лишь изумлялись этому ужасающему транжирству. И уже позднее, всё от того же Грэма мне стало известно, что Петр, защитив диплом, начал обычную для адвоката карьеру: попал на работу в известную контору, специализировавшуюся в крупном международном бизнесе, но сам в ней вел гражданские дела. Я был искренне рад, что жизнь его вошла в нормальное русло. Хотя и сожалел, что он перестал давать о себе знать. В глубине души мне, однако, трудно было поверить до конца, что ему удастся втянуться в ту жизнь, от которой еще вчера он был готов сбежать на край света.

Позднее, когда и я, в свой черед, оказался во Франции, наши отношения так и не возобновились. Причин для разрыва не было. Но не было причин и для поддержания отношений. От мира юриспруденции я жил за тысячи километров, да и поселился сначала на юге Франции. С уверенностью можно сказать и другое: Вертягин не рвался к возобновлению отношений с прежними кругом московских знакомых, по-видимому решив, что если уж нужно поставить на прошлом точку, то лучше это сделать сразу, раз и навсегда.

Нам довелось всё же увидеться дважды. Первый раз – на Пасху, на рю Дарю. В дни больших церковных праздников из-за столпотворения, образующегося в церковном дворе, бывает иногда трудно попасть внутрь собора, если прийти слишком поздно – не ради заутрени, как бывает, а чтобы отметить, помять бока соотечественникам. В том году я оказался в числе последних.

Раскаиваясь за опоздание, с улицы я слушал службу на французском языке, доносившуюся через громкоговоритель из крипты – второго «нижнего» храма. Оказываясь вовлеченным то в один людской поток, то в другой, в какой-то момент я оказался отесненным к дому причта, почти к ограде, и уже решил было уходить, не дожидаясь знакомых, которые звали меня на ужин по окончании литургии, – но они находились внутри, и их всё равно было не найти, – когда вдруг на плечо мне кто-то положил руку. Рослый незнакомец смотрел на меня внимательным взглядом и чего-то ждал. Я не сразу узнал Петра Вертягина. Затем мы стали без слов трясти друг другу руки.

Он был одет в серый будничный костюм, казался непохожим на себя прежнего, заметно постарел. Не менее удивленная вопросительная улыбка блуждала по лицу его светловолосой спутницы, не русской по виду, с которой он переговаривался то по-французски, то по-немецки. Ей явно было невдомек, как в такой толпе, из одних зевак, все как один целеустремленно гла-

зевших на вход в собор, с таким видом, словно здесь должно было вот-вот состояться явление Христа народу, у ее кавалера могут быть знакомые.

Во дворе опять произошло брожение. Вертягин пообещал вернуться через пару секунд, попросил меня дожидаться его за оградой, на тротуаре, и пошел кого-то разыскивать. На всякий случай он сунул мне в руку свою визитку. На всякий случай я сделал то же самое. Его долго не было. Ждать было бессмысленно, к тому же заморосило...

Во второй раз мы увиделись у него дома. Примерно через месяц я получил от Вертягина приглашение на частную вечеринку. Адрес и на конверте и на картоне красовался загородный – местечко под названием Гарн, о нем выше уже упомянуто. Что являлось поводом званого вечера, из текста приглашения трудно было понять. Что мне там было делать? Однако в назначенный день, наткнувшись в еженедельнике на сделанную пометку, я надумал-таки поехать. Возможно, просто поддавшись благодушному летнему настроению: был июнь, в городе стояла духота, в такие дни всегда хочется выбраться куда-нибудь за городские окраины.

Вертягин, как оказалось, созвал знакомых не просто на вечеринку, приуроченную к новоселью, а на настоящий загородный раут. Съехалось несколько десятков гостей. Небольшая усадьба, старенький белокаменный дом с флигелями, стал собственностью Вертягина совсем недавно. Но он уже успел сделать кое-какие перестройки. Вокруг дома простирался обширный, на редкость ухоженный участок размером около гектара. Покатый и вытянутый, изрезанный аллеями и засаженный розами, парк спускался к лугам, ярко зеленеющим в лучах багрового предзакатного солнца. На ровной стелющейся ниве паслись овцы. С левой стороны луга выходили к молоденьким лесопосадкам. А дальше, на взгорье, огибавшем поселок с запада, темнел лесной массив.

Всё здесь казалось до неестественности идиллическим, если принять во внимание, что до Парижа было рукой подать. Усадьбу вряд ли можно было отнести к категории зажиточных. Но для тех, кто умеет ценить чистый воздух и загородную тишину, кто с молодости дорожит своим здоровьем и может себе позволить небольшую роскошь, пристанище было всё же завидным.

Вертягин потратился на буфет, на прислугу. Официанты в белых пиджаках и с бабочками шныряли через газоны, предлагая гостям шампанское, соки, крохотные пирожки из слоеного теста, желающим – ледяную водку в увесистых, запотевших рюмках, похожих на небольшие граненые стаканчики, – в точности такие же, какими Вертягин пользовался на даче в Лесном Городке.

На этот раз толпа состояла из родственников, знакомых, соседей и, как я понял, из юристов различных гильдий и сословий, которые всегда и всюду производят почему-то удручающее впечатление, особенно в таком скоплении. Пожалуй, всё же своим благополучием, афишировать которое как-то не принято, но и скрывать его было бы ложной скромностью. А удручает оно, потому что при виде столь единодушного корпоративного самодовольства становится вдруг ясно как божий день, что неблагополучие одних простых смертных (кто нуждается в правосудии) приводит к преуспеванию других. В силу чего не только само «правосудие», но и любые смежные с ним понятия, вроде «свободы», «равенства», «братства» и «справедливости», кажутся какими-то дьявольскими изобретениями, которыми одни люди без зазрения совести пользуются, чтобы верховодить другими, более слабыми и менее хищными от природы, под предлогом тех или иных своих природных, опять же, задатков, реальных или мнимых.

Своим присутствием общество удостоил и Вертягин-старший. Суховатый, рослый, загорелый, с совершенно лысым черепом, старик Вертягин разгуливал по газону в темно-синем блейзере на металлических пуговицах, в светлых брюках и в английских туфлях из черной замши.

Отца Петра я видел впервые и не мог не удивляться их физическому сходству. Когда они оказывались рядом, в этом сходстве, зеркально отображавшем лет тридцать возрастного

разрыва, было что-то обескураживающее, даже отталкивающее. И в отце и в сыне бросалась в глаза породистая сухопарость, одинаковое выражение невозмутимой задумчивости, буквально отпечатавшейся на лице и того и другого, но где-то на уровне глаз, не в самих глазах, – деталь, пожалуй, странная. Петр не успел обзавестись разве что лысиной, как отец. Своим светлым, крепким лицом он выдавал в себе человека здравствующего, в расцвете лет и сил, хотя и выглядел немного старше своих лет.

После обмена любезностями с Вертягиным-старшим Петр решил дать за мной поухаживать своей молодой «подруге» — дабы я мог поупражняться в немецком. Ее-то вместе с ним я и повстречал однажды на рю Дарю.

Звали ее Мартой. Австрийская подданная, чуть моложе тридцати, правильное лицо, полный рот, окаймленный выразительными ямками, живые карие глаза, золотистые волосы, гладкая прическа. Она вряд ли могла сойти за красавицу. Для этого ее внешности не хватало какого-то последнего уточняющего штриха. Несмотря на легкий акцент, придававший ее речи типичную после немецкого языка рыхловатость, по-французски она говорила безукоризненно правильно и бегло...

В разгар вечеринки я оказался в одной компании с отцом Петра, и мы разговорились. Разговор вышел праздным, но, может быть, поэтому он и припоминается мне с такой отчетливостью. Как только до Вертягина-старшего дошло, что я – эмигрант третьей волны, то есть бывший советский подданный, он стал сверлить меня вопросительным взглядом, к которому примешивалась настороженность – это легко угадывалось по его умным, пронизательным, но холодным глазам. Шевеля одной бровью, он принялся расспрашивать меня о Москве, Петербурге, обо всём подряд. Я с вдохновением плел всякую чепуху, сразу почувствовав перед собой не просто человека, умевшего говорить обо всём и ни о чем, но собеседника-профессионала.

Всё, что касалось России, вызывало у Вертягина-старшего самый живой интерес. Хотя он с трудом понимал, что там теперь происходит. Нить событий для него давно оборвалась. Так, слово за слово, я был посвящен в «семейные новости» Вертягиных. Он, отец, перебрался из Нанта в «родные места», на юг. Петр стал сам себе «хозяином», открыл собственную адвокатскую контору, врата карьеры теперь были распахнуты перед ним настезь. Когда Вертягин-старший говорил о сыне, он называл его русскими именем «Петр», но с французским выговором. По его тону чувствовалось, что он рад за сына, а вместе с тем как бы отказывается принимать его всерьез...

О чем мы говорили в тот вечер с самим Петром, мне даже не удастся вспомнить как следует – тоже обо всём и ни о чем. В наших отношениях чувствовалась какая-то неясность. Оба мы делали вид, что всё по-прежнему, что мы не изменились. К счастью, не стали корчить из себя закадычных друзей. Шум и гам вокруг, галдеж соседской детворы, шнырявшей между взрослыми, медленно надвигающиеся сумерки, беготня официантов, которые расставляли по саду, погрузившемуся во мрак, свечи-фонарики, грохочущая на террасе музыка, собирающаяся гроза, которую предвещали раскаты грома вдалеке, детские слезы из-за неподеленной игрушки... – это все, что запомнилось.

Чему и удивляться? Если взглянуть на вещи непредвзятым взглядом, встречи с прошлым, даже если они оказываются часто тяжелыми, несут в себе что-то отрезвляющее. Вдруг понимаешь, что в жизни всё правильно, логично и закономерно, что по-другому быть и не может. И с этой самой минуты новыми мерками измеряемое время вторгается в душу уже новой доминантой, которую невозможно описать словами. Но также невозможно после этого делать вид, что всё остается по-прежнему. Невозможно не подстраивать под эту доминанту свое мироощущение или даже всё свое существование – на новом его витке.

Что, как не время, оберегает нас от стихийности абсолютного? Все, видимо, просто. Гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Тот факт, что кто-то или что-то неотступно стоит у нас над душой, неотступно преследует нас по пятам, чего-то от нас беспрестанно доби-

ваясь, видимо, не означает, что этот «кто-то» волен изменить нашу жизнь в лучшую или в худшую сторону...

* * *

Тот, кому доводилось бывать в департаменте Ивлин в середине восьмидесятых, конечно, еще помнит, сколь живописен был в те годы западный район Иль-де-Франса. Прилегающая к Шеврёзской долине местность красотою своими может уложить наповал и сегодня, стоит свернуть в сторону с главной транспортной артерии, которая тянется сюда из Парижа будто пуповина. Но в этом смысле и сама столица, глядя на вещи отстраненным взглядом, откуда-нибудь с сельского шоссе, затерявшегося среди всходов рапса, маиса или пшеницы, напоминала в те годы не крупнейшую в мире агломерацию, а изнуренную роженицу, лениво лелеющую под боком несмышленного детеныша...

Загородная жизнь входила в моду. Вместе с ней в моду входили еще не оприходованные городом, но обжитые и даже отдаленные окрестности, где могли найти себе пристанище все те, кому больше не хотелось связывать себя с городом, но кто не имел возможности порвать с ним окончательно. Мода вписывалась в настроения эпохи. И сколь бы ни были они скоротечными, главная тенденция подчинялась, как всегда, простой закономерности: новый возврат к старым мерилам.

Кардинальный разворот во нравах был, наверное, своевременным после многолетних, разгульных празднеств, которые многим достались в наследство еще от шестидесят восьмого года. Сам дух этих лет давно уже канул в Лету. Но целое поколение людей продолжало жить с оглядкой на прошлое. Пока спрос на новые, более приземленные ценности не стал, наконец, повальным. Неслучайно носителями новых «приземленных» ценностей оказались как раз празднующиеся – все те, кто вчера вынашивал веру если не в «закат Европы», то в «гибель богов», а теперь, сжившись и с этой необходимостью – с необходимостью жить, разуверившись в идеалах, как сживаются с врожденной болезнью, – научился довольствоваться поверьем, что данная форма существования является наименее худшей из всех существующих. Но таковы законы природы. Рано или поздно всё меняется если не по сути своей, то по форме...

Умеренные расстояния от города и цены на недвижимость, по которым дома и целые усадьбы стали выставляться в Ивлине на продажу, создавали заманчивое соотношение для личных капиталовложений, и они потекли рекой, вливаясь во всеобщий спекулятивный бум. В Шеврёзской долине дома продавал люд нередко исконный, живший на доходы от сельского хозяйства. Обольщение внезапным ростом цен на жилье стало едва не поголовным. В своем стремлении подзаработать на «камешке» местные жители руководствовались, впрочем, и объективными знаменами времени. Сельскохозяйственная деятельность в районе приходила в упадок. Рентабельность фермерских хозяйств шла на убыль. Содержать их становилось непосильным...

После нескольких лет, проведенных в Париже, Петр Вертягин был по-прежнему далек от намерения устраиваться в столице. Прокопиться всю жизнь в муравейнике, затеряться среди судеб себе подобных – ничего более безотрадного он не мог себе представить. Пускать корни в столице Вертягин не собирался даже в тот момент, когда на предложенный отцом аванс в счет будущего наследства он приобрел собственную квартиру. Студия находилась на rue Lejandr, в семнадцатом округе. Купить ее удалось чуть ли не с молотка. Теснота квартирки являлась залогом временности. И вот по истечении двух лет он понял, что квартира стала лишь ярмом на шее. Нерешительность с переездом в провинцию теперь выходила боком. Однообразное городское существование с каждым днем отвращало всё сильнее. Кабинетная работа, нескончаемые будни, рутинная, мало-помалу стандартными становящиеся запросы и отсутствие

главного... – именно так и жили здесь все. Еще год-два такой жизни, и полная внутренняя несостоятельность была гарантирована.

Вместе с тем как можно было думать о переезде теперь, когда карьера пошла в гору? Переселение перечеркнуло бы всё разом. И Петр всё больше склонялся к мысли, что лучше искать какой-то половинчатый выход. Для этого следовало в первую очередь похоронить голубые мечты о сладкой жизни в солнечном южном захолустье и всерьез думать о приобретении постоянного жилья под Парижем...

На поиски уходили все выходные. Без машины обойтись было невозможно, и он обзавелся стареньким, маститым «пежо» черного цвета. Составив четкий план, Петр навевался то по одному, то по другому объявлению. За месяц ему удалось осмотреть в Ивлине десятка полтора домов – с участками, без участков, с бассейнами, с колодцами, с теннисными кортами, попадались и такие, что просто ожидали сноса. В конце концов ему пришлось признать очевидное: устремлять поиски только на этот район было опрометчиво. Цены на недвижимость в Ивлине оказались сильно взвинченными.

Затем поездки пришлось приостановить совсем. С тех пор как он стал жить не один – «спутницей жизни» стала молодая австрийка родом из Вены, – времени на езду по пригородам не оставалось. Марта Грюн, изучавшая историю архитектуры, в Париж приехала на стажировку, планировала писать во Франции диссертацию по романскому зодчеству, однако по воле обстоятельств решила повременить как с диссертацией, так и с возвращением в Вену.

Студию на рю Лежандр Петр сдал в аренду и снял трехкомнатную квартиру в Версале, поближе к новому месту работы, после того как наконец отважился принять давно сделанное ему предложение: на правах компаньона и пайщика он влился в адвокатскую контору, основанную университетским приятелем Фон Ломовым. Как и Петр, русского происхождения, но родившийся в Бельгии, рано осиротевший (отец его был из померанского юнкерства, мать русская), Серж Фон Ломов вырос под крылом брюссельского дяди, затем парижской тети и, наконец, персонала закрытого интерната в Мезон-Лафите, куда родственники отдали его на полное содержание. Едва получив университетский диплом, Фон Ломов практически сразу понял, в какую сторону дует ветер. «Трубить» на зарплате, как большинство однокашников, ему не хотелось. Недолго думая, он выторговал в банке кредит и открыл в Версале собственную адвокатскую контору. С первого дня основания кабинета Фон Ломов предлагал Петру объединиться в одно юридическое лицо. Но Петр тянул, опасаясь, что дружеские отношения, которыми он дорожил, от этого могут пострадать.

За истекшее время контора разрослась, в нее вошли другие компаньоны, кабинет встал на ноги. Некогда сделанное Вертягину предложение утратило свою актуальность. Но Фон Ломову удалось убедить компаньонов в необходимости пойти на новое «расширение». Всё произошло само собой: во время обоюдных смотрин, организованных Фон Ломовым у себя дома и неожиданно вылившихся в незабываемый «мальчишник» (с утра у всех трещали головы от виски), Вертягин принял окончательное решение – объединиться...

Осенью восемьдесят девятого года Марта Грюн случайно обмолвилась об очередной возможности взглянуть на дом, который продавался в Ивлине, в небольшом местечке Гарн, неподалеку от Дампиерра, как раз в тех местах, которые Петр исколесил недавно вдоль и поперек, когда ездил по объявлениям. Родственник Мартиных друзей жил в Шеврёзской долине и дом видел собственными глазами. Он советовал садиться в машину и мчаться осматривать дом немедленно – когда еще представится такая возможность?

Казалось очевидным, что недвижимость не могла за это время подешеветь, и особых иллюзий Петр себе не строил. Но именно в эту осень очередную помощь предлагал отец.

По выходе на пенсию перебравшись в родной Прованс, в Ля-Гард-Френэ, Вертягин-старший решил расстаться со своей квартирой возле Люксембургского сада, быстро и удачно ее продал, что позволило ему отложить для сына еще полмиллиона франков, на случай, если он надумает приобрести что-нибудь более основательное, о чем они уже неоднократно говорили.

Петр отправился в Гарн в ту же субботу, не столько из любопытства, сколько из расчета, что эта прогулка послужит толчком для возобновления поисков. Дом находился на краю большого поселка, окруженный аналогичного типа, но более зажиточными домами с довольно большими участками. Места выглядели обжитыми, ухоженными. Ни фермерских хозяйств, никакого жанрового, сочащегося колорита сельской жизни, а тем более обособленности от соседей и от населенных пунктов здесь не было и в помине. Одно это ввергало в сомнения. Но уголок всё же привлекал своей отдаленностью от шоссежных трасс, своим как бы откровенным безразличием к стереотипным меркам, за которые непременно цепляются горожане, стоит им очутиться в незнакомой сельской местности.

Впечатлял и участок, прилегающий к дому. В самом низу ограда выходила к полям. С одной стороны, левее и к западу, низменность переходила в разливованные посадки искусственных шпалер, разводимых местным зеленщиком, а правее луг взбегал на подножия невысоких холмов, покрытых лесной чащей. Туда же, к лесу, выводила и укрытая от постороннего глаза подъездная аллея, пересекавшая весь этот обособившийся от внешнего мира островок усадеб.

Объявленная хозяевами цена значительно превышала черту, которую Вертягин изначально установил для себя, чтобы вести переговоры о покупке: за дом просили миллион двести тысяч франков. К тому же дом не отвечал «исходным» параметрам, которые Петр тоже четко вывел для себя с самого начала. Если уж покупать жилье за городом, то непременно просторное и светлое, говорил он себе. При осмотре дом показался ему немного тесным и даже несколько темным внутри – оконные проемы были слишком узкими.

Требовался капитальный ремонт. Запущен был и двор, и хозяйственные постройки. Со всеми перестройками, которые ему казались неизбежными, такой ремонт мог обойтись в триста – триста пятьдесят тысяч франков – и это по самым скромным оценкам. Таких средств он не имел. В течение года или двух невозможно было бы и помышлять о подобных вложениях. Пришлось бы влезть в долги. И тем не менее было над чем призадуматься...

Каким образом ему удалось втереться хозяевам в доверие с первой же минуты, Петр и сам не понимал. Принадлежал дом пожилой супружеской паре, людям еще недавно городским, небогатым и простодушным. Невысокого роста, ссохшийся старичок, расхаживающий в вельветовых штанах, подозрительностью своих крохотных мелких глаз выдававший незаурядную сельскую смекалистость, принялся тут же рассказывать гостю всю свою жизнь. Многие годы он работал в столице каменщиком (примечательно то, что фамилия пары была Массон). Выйдя на пенсию, досуг свой они с женой посвящали цветоводству, а также разведению кроликов; из обыкновенного хобби это увлечение даже превратилось в настоящую статью доходов. Продавать дом им вовсе не хотелось. Но они больше не справлялись с хозяйством, не хватало сил. Как следует поразмыслив, взвесив все «за» и «против», они наконец пришли к выводу, что им пора возвращаться в Финистер, откуда оба были родом. Если, конечно, подвернется приличный покупатель и дом с хозяйством удастся передать в надежные руки...

На вторую встречу с хозяевами, в следующие выходные, Петр взял с собой Марту. Он сразу же почувствовал, что хозяину пришелся не по душе тот факт, что его половина не французка. Для старика Массона дело принимало какой-то неожиданный поворот: в душу человека, состарившегося вдали от поветрий времени, и какого ни есть, но всё же патриота, заселение иностранцами всех лучших уголков его родины явно не вселяло ничего хорошего. Но предубеждение старика вроде бы рассеялось, когда всей делегацией они отправились посмотреть на кроликов и когда Марта, присев на корточки перед вольером, принялась шушукаться

с трусливыми зверьками, восторженно подсовывая им травку, предложенную хозяином морковку, играя с его питомцами, как ребенок. На лице у старика Массона заиграла благодарная улыбка.

Хозяева накрыли на улице стол, застелили его клеенкой с изображением персиков, где и стали потчевать гостей янтарного цвета приторным вином из Шаранта. Старик покупал вино в бочонках и сам разливал по бутылкам. После этой церемонии хозяин вынул из нагрудного кармана изящный бархатный футляр с очками, насадил их на нос и опять повел гостей на участок, намереваясь показать другую часть хозяйства – розарий, вызвавший у Петра наибольший интерес.

Возможно, именно розарий, по-настоящему ухоженный, а также допотопный рычажный станок для закупорки вин, который хозяин показал гостям в подвальчике, и склонили Петра к окончательному решению.

Заодно с домом обзавестись еще и розарием? Это превосходило все ожидания. Вертягин-старший слыл заядлым садоводом. Мать жила всегда в загородном доме с садом и тоже разводила цветы. Вертягин-младший дышал этой атмосферой с детства. И вот сегодня, оказавшись перед реальной возможностью последовать примеру родителей, Петр осознал, что садовничество тоже сидит у него в крови. В этом неожиданном стечении обстоятельств Вертягину мерещилось какое-то счастливое знамение. А ко всему старик Массон, хотя никто и не тянул его за язык, предложил снизить цену – «для круглого счета». Вместо первоначальных миллион двухсот тысяч франков он просил теперь лишь миллион, решив «округлить» сумму...

Сохранились кое-какие записи, сделанные Петром Вертягиным сразу же после переселения в Гарн. Они представляют собой интерес не более чем иллюстративный, но некоторые из них автору этих строк привести не терпится.

3 мая

Какие дни! Какая убийственная погода! Мы действительно не прогадали. Солнце парит с раннего утра. Нет сил ни встать, ни даже тронуться с места. Я и просиживаю дни напролет в шезлонге. Марта бродит по саду в намоченной майке. Прикладывает ладошку ко лбу, вопросительно вглядывается в поднебесье. Как только мы смотрим друг на друга, она начинает счастливо таять, каждый раз находя в моей мине какой-то удовлетворяющий ее ответ. На все вопросы сразу.

Подобное недоразумение происходит постоянно. Окружающим кажется, что мне известно что-то такое про этот мир, что неизвестно им самим. Это вызвано выражением какой-то неосознанной самоуверенности, говорят, оно написано у меня на лбу. Может быть, даже – нахальства, отчего я не смог избавиться с юности. Ну а затем, поскольку мне никого не хочется разочаровывать в себе, тем более из-за всякой ерунды, я готов потакать любому заблуждению на свой счет. Готов делать вид, что действительно способен повелевать стихиями, что мне море по колено. Хотя в действительности... Господи, иногда чувствую себя настолько бессильным перед элементарно простыми вещами, для большинства людей совершенно обыденными и не представляющими ни малейших трудностей.

Не унывать. Вот святое правило! Отпечаток нахальства на физиономии – это признак неосознанного уныния или больших внутренних слабостей. А посему – знать всё это в шею.

Вечера провожу внизу в своей каморке. Разглядываю сад. Вид меня всасывает. Я делаю вид, что занят бумагами. Марта нашла у меня в книгах томик Г. Д. Тороу. Зачитывается им. Она весь вечер прохлаждается, не встает с дивана. Его идеи «гражданского неповиновения» и «добровольной бедности» мы обсуждали вчера до двух ночи.

Планы у нас наполеоновские. В доме сделать нужно следующее:

1. Ремонт и перекраска стен (со съемом старых обоев и отделкой – работы дней на 15) влетит, думаю, тысяч в десять.

Ремонт, покраска шпаклевка (со съемом) – 15 тыс.

2. В ванной заменить само корыто. Влетит в 1000 фр. Установить новые смесители и т. д. – еще 900 фр. Слесарю за установку кранов – 600 фр. Для переоблицовки стен в ванной понадобится 12 м² белой плитки с лазурным отливом:

$(\text{площадь} \times \text{цена}) + (\text{площадь} \times \text{почасовая плата за кладку}) = (12 \text{ м}^2 \times 95 \text{ фр. за м}^2) + (12 \text{ м}^2 \times 100 \text{ фр. за час кладки}) = 1140 + 1200 = 2340.$

Замена корыта – 1000

Краны с установкой – 1500

Белая плитка, лазурн. отлив (см. расчет) – 2340

Расходы на слесаря – 600

3. Обновление санузла:

унитаз + установка + раковина + смесители + установка = 850 + 300 + 1750 + 850 + 300 = 4050.

Весь санузел – 4050

4. На кухне: раковина и смесители + установка = 1590 + 300 = 1890.

5. Расширить оба окна в гостиной. Разбивать ригеля? Нет, лучше оставить. Два дня работы + два оконных блока = 3000 + (1950 × 2) = 6900.

6. Расширение проема окна в моем кабинете: день работы + оконный блок = 1500 + 2800 = 4300.

7. Замена прогнившей рамы в спальне: рама + полдня работы = 1850 + 1500 = 3350.

8. Убрать перегородку между спальнями: два дня работы, с заделкой – 3000.

9. Отопительный котел на мазуте: сам котел + новые радиаторы + топливный бак с автоматикой = 40 000.

10. Освободить каморку под чердаком и установить наверху душ: кабина + установка = 2390 + 600 = 2990.

11. Засыпать дорожки гравием хотя бы вокруг розария: 3 тонны гравия + доставка = (3 × 350) + 300 = 1350.

12. Посадить тую вдоль левой ограды, чтобы загородить от глаз просвет в 10 метров, с плотностью по два саженца на метр: (цена саженца × 2 × 10 м.) + удобрения = (60 × 2 × 10) + 200 = 1400.

13. Вывести к беседке кран для полива: трубы, медные муфты, тройники и переходники + 2 дня работы = 800 + (2 × 300) = 1400.

14. Для хозяйства купить немедленно: шланг на катушке + штуцеры для подсоединения + два секатора + спец. ножницы для ухода за туюй + грабли + лопата штыковая + лопата совковая + мотыга для дренажа + фосфорные удобрения + клубни цветов + земля + газонокосилка = 490 + 2000 + (2 × 175) + 238 + 80 + 80 + 80 + 245 + 500 + 300 + 1000 + 3 000 = 8363.

Итого: 96 333 франка.

И это только на первое время! Прорва...

Сократить смету. Непонятно, где брать время. Да и деньги. Хм!

6 мая

Обнаружил, что из окошка в ванной комнате просматривается двор соседей, тех, что живут через дорогу. Можно запросто наблюдать за происходящим у них в гостиной, во дворе и даже выше, в спальне...

Вчера утром впервые встретил их на улице. По виду горожане. Он – с кудрявой бородкой, с пестренькими наивными глазами. На лице – какой-то сумбур и такое выражение, как будто с него пытались стереть что-то прилипшее, долго и тщательно терли, но только еще большие размазали. Она... Но это нужно было видеть. Я возвращался из булочной, шагал мимо их ограды и вдруг в просвете зарослей – странное зрелище. Посреди газона стоит молодая самка. В одном бикини, вцепившись в грабли, согнувшись в три погибели, вся в мыле, лоснящаяся, как молодая запаренная кобыла... В этом плотском натурализме, или даже безобразии, которое в женщине, стоит застать ее врасплох, иной раз поражает, было что-то приковывающее взгляд. Я не мог оторвать глаз.

Я поздоровался. Она подскочила как ужасенная, выронила грабли...

Сегодня получилось еще глупее. Я уже сел за руль, как вдруг заметил ее с мужем перед воротами дома. Подогнав поближе свой бюргерский «ситроен», они пытались вытащить из багажника огромную газонокосилку. На вид – килограммов двести. Вот-вот останутся без ног. Я ринулся на помощь. Подойдя, так и ахнул. На этот раз соседка была не то чтобы в бикини, а в чем-то нательном, и в то же время в бальных, золоченых туфлях на шпильках. И этот загар... Я вдруг понял, почему был так поражен ее видом, когда увидел ее в первый раз. У нее загар мумии. В начале мая!

Постояли, посмотрели друг на друга и решили, что пора знакомиться. Мишель и Жепу Сильвестр... Они неловко расшаркиваются. В глазах – жажда общения, как у многих бездетных пар. Газонокосилку они приобрели в складчину с другим семейством, которое живет от меня через дом. Их рыжая дегенеративная шавка чуть не изодрала мне брюки.

Погода действительно как на заказ. Нет сил чем-либо заниматься. Читаю газеты, ловлю галок в небе, перебираю книги, но как только вчитываюсь во что-нибудь, замечаю, что сижу над одной и той же страницей. В голове пусто. Здесь всё воспринимается как-то механически, в обход извилин.

Никогда не думал, что под Парижем могут быть такие облака. Плывут будто заснеженные горы. Да так низко, что кажется, проутюжат лес. А небо синее, бездонное, укачивающее, как океан.

Как мало нужно, чтобы взгляд распахнулся для этого простого созерцательного наслаждения. И как оно очищает! И всё же я отвык от такого времяпровождения. Опустошает. Пора принимать меры...

19 мая

Погода пошла на спад. С утра опять как развезло. С леса ползут клубы тумана. День – хоть глаз выколи. Рано радовался.

Другую парочку, которая живет от нас слева, через участок, всё еще не встречал. Муж, по слухам, архитектор. Почетный гражданин округи. И если не ошибаюсь – с замашками. Перед их воротами сгружают голубую плитку. Они собираются отделять ею бассейн. У них есть дочь, но уже слышал, что приемная. По вечерам напару с подружкой девочка разглядывает мое сиятельство в беленький театральный бинокль, прячась за кустами, которыми обнесен их участок. Я строю им рожи. Они в панике исчезают. Затем опять появляются, опять с биноклем, но уже в другом месте.

Очень жаль, что наши участки внизу смыкаются. Им удалось, как я слышал, откупить землю у пенсионеров, хозяйство которых отделяет наши дома сверху. Придется и мне отгораживаться кустами...

Вчера вечером произошло следующее: сижу в гостиной и вдруг слышу у себя в коридоре шарканье ног. Кто-то вошел и проходит без спроса внутрь! Я вскакиваю, вылетаю навстречу. Передо мной средних лет дамочка с рыжей как факел прической.

«Простите за вторжение, – изрекает она басом. – Я не могла достучаться, а дверь открыта... – После чего гостья заявляет: – Мадам Массон мне сказала, что вы разбираетесь. У меня что-то камин коптит».

Обомлев, я топчусь как истукан посреди комнаты, презграждая ей дорогу:

«В каминах?! Мадам Массон напутала», – изрекаю я недоуменно.

«Наши архитектор, – гостья тычет перстнем в сторону, – через дом, знаете? Он в отъезде...»

На лице – отчаяние. В глазах, поразительно правильных, плаксивых, – непонятная насмешливость. У меня было чувство, что она меня разыгрывает.

«Проходите...» – мямлю я, верх галантности.

«У вас... вы меня простите... ширинка расстегнута...» – заявляет она.

Опускаю глаза – действительно! Взял и застегнул. Но едва не провалился сквозь землю.

Через минуту мы всё же отправились к ней. Она живет чуть выше. Двор завален всякой ветошью. Домина не ахти: белый, накромсанный, как бисквит, на ровные порции. Входим – и пожалуйста! Пять или шесть здоровенных детей сидят в салоне на двух диванах. Все в джинсах. Двое с головы до ног в кожаных доспехах, похожи на уличных мотоциклистов. Все посасывают какие-то самокрутки. Несет марихуаной.

Самого тощего, с торчащими как у пугала плечами, мадам представляет мне как своего мужа. Кто-то вставляет мне в кулак пузырек с пивом и запускает в высокий, прекрасно отделанный камин зажженную газету. Дым, с ошметками пепла, выносит в комнату.

Вышли осматривать дымоход снаружи. На мой взгляд, он просто кривой изнутри, и нет ничего удивительного в том, что при снижении атмосферного давления дым выбивается в комнату. Что я и объявляю во всеулышание.

«Раньше разве не дымило?» – спрашиваю я.

«Что вы! Эта история тянется уже лет десять!» – отвечает хозяйка.

Весь целомудрие, стараясь не обижаться, я советую переделать камин, понизить верхнюю часть. Общество таращится на меня с изумлением. Муж начинает скулить что-то о каррарском мраморе, который жалко, дескать, залепить кирпичами. Я объясняю ему, что опустить нужно лишь свод камин – дымоход, а не сам камин, не в комнате...

И только потом, когда я вернулся к себе, до меня дошло, что я побывал в гостях у той самой знаменитой актрисы из «Французской комедии», о которой мне прожужжала все уши хозяйка соседнего кафе, местная сплетница...

На одной из оград вверху, перед лесом, появилась новая табличка о продаже. Не дом, а чудо! Участок гектара в два. Проморгал! Эх...

26 мая

Всю неделю сбивался с ног в поисках садовника. День назад случайно заговорил на эту тему с Сильвестром, соседом, и он порекомендовал мне своего бывшего.

На их участке работ мало, лишь стрижка газонов. На меня они смотрят с ревностью и испугом. Уверены, что садовый пыл во мне иссякнет. Так наверное было когда-то с ними. Уже во второй раз приходится отклонять их приглашение оприходовать по стаканчику аперитива у них за домом, там, где они устроили что-то вроде салона под открытым небом. Вечерами они занимаются там исполнением своих супружеских обязанностей, умудряются это делать прямо на шезлонге. Эта часть их двора просматривается из окна верхней спальни. Зрелище довольно впечатляющее. Как люди похожи иногда на животных!

Сегодня утром появился садовник Сильвестра. Разбудил в семь утра. Выхожу – перед воротами не старик, а старец. Пристальные, слезливые глаза с какими-то ненормальными фиолетовыми зрачками. Лицо цвета прошлогодней картошки. Смотрит на меня если не волком, то свысока. Зовут деда Модестом. Фамилия – Далл’О. Я повел его в розарий. Дед стал меня уверять, что за таким цветником нужен, мол, уход да уход. Браться за работу не хотел, ни в какую. Пришлось уговаривать. В конце концов скрепя сердце соглашается, но ставит условие, что будет приходить в шесть утра...

Марта успела презнакомиться со всем поселком. После обеда ходит к соседям чаевничать, плескаться в бассейне, обменивается с ними кулинарными рецептами и не перестает одалживать без спроса мои инструменты. Те уже не чают в ней души. Марта упрекает меня в высокомерии, считает, что мое упрямое нежелание уделить час свободного времени «приятным и простым» людям – разновидность жадности. Сильвестр, по ее сведениям, работает в центре каких-то атомных разработок, что неподалеку отсюда. Занимается отходами, которые японцы сплавляют им со своих берегов. Жена торгует недвижимостью. Напару с подружкой держит в городе контору. Сын актриски – наркоман. Муж, которого я видел, ее бросил. Или она его. Они на грани развода. Архитекторова чета держит себя сдержанно. На днях их пудель утонул в бассейне...

Еще недавно мне казалось, что жизнь живущих в собственном доме должна быть какой-то особой, не похожей на жизнь других. Увы, всё то же самое. Просто чаще чувствуешь себя в шкуре человека, прибывшего на конечную станцию и выгрузившегося со всем багажом, которого никто не приехал встречать. Что дальше делать – вот вопрос. Всё начинать сначала?..

* * *

Оставшуюся часть наследства Вертягин-старший переоформил на сына в марте. В гарнский дом тот переехал в апреле. В июне состоялось вышеописанное загородное новоселье, идея которого принадлежала, опять же, Вертягину-старшему, решившему, что не представится более подходящего случая, чтобы хоть раз за годы увидеть родственников всех вместе, а заодно и столичных знакомых, с которыми после переселения в Прованс отношения неизбежно увядали. Встреча эта, не только со старыми знакомыми, но и с сыном, стала для Вертягина-старшего последней...

Когда в конце года, поздним декабрьским вечером в Гарн позвонила мать – родители развелись годы назад, и мать звонила ему редко, – до Петра не сразу дошло, в чем дело.

– Папы больше нет, – сказала чужим голосом мать. – Крепись, мой мальчик...

Первое, о чем Петр подумал, – это непреложность самого известия. Можно ли ставить такие новости под сомнение? А затем он почувствовал стыд: почему столько праздного в голове в такую минуту?

С недоуменной, да и безвольной миной он продолжал глазеть в окно, в сгущающийся снегопад. Зимняя пустота только теперь вдруг обрела реальные контуры, стала ощутима физически. Из нее тянуло чем-то ледяным, пронизывающим. А из-под ног тем временем что-то мягко уплывало. Какой-то внутренний барьер мешал вдруг сделать над собой последнее усилие.

– Когда это случилось? – спросил Петр.

– Только что... Поезжай, милый. Я постараюсь приехать утром.

– Ты в Париже?

– Да нет, почему... Я дома, в Джерси! – В голос матери закралось удивление, не то упрек. – Всё как миг. Никогда не смогу поверить..., – добавила она тем же чужим голосом. – Никогда. Ты слышишь меня?..

Было около двух часов ночи, когда Марта, раздавив в пепельнице последнюю сигарету, отправилась спать. Петр пообещал подняться следом. Ему хотелось с вечера приготовить в поездку вещи, чтобы не заниматься сборами с утра. Оставшись в кабинете один, он мерил его шагами и не мог сосредоточиться, не мог найти нужные документы, паспорт. В конце концов, завалившись в кресло у окна, он курил сигарету за сигаретой, смотрел в сад, впиваясь глазами в белизну снегопада. Здесь же, в кресле, он и уснул...

Ему приснились мать и отец. Кроме родителей, рядом мельтешил еще кто-то четвертый. И это четвертое лицо, неузнаваемое, казалось Петру очень близким – ближе, чем родители. Проснувшись, он не мог вспомнить, кто это был. Но одна из картин врезалась в память до мельчайших подробностей, и она неотвязно стояла перед глазами даже утром.

«Всё это – жизнь...» – Отец обводил рукой голое пространство вокруг себя, распахивающееся во все стороны, искромсанное полями и сплошь покрытое бурной цветущей растительностью.

Над горизонтом высилась гряда гор. Эти синеющие массивы сливались с облаками исполинских размеров, которые неестественно быстро, словно клубы пара и дыма, вырывающиеся из-под колес паровоза, как в старых фильмах, раскатывались в стороны и растворялись в голубизне небосвода.

«Вход вон там, видишь? – сказал отец. – Ты слышишь меня, Петр?»

Отец показывал рукой влево, в темную впадину, вдруг различимую на самом краю рельефа, туда, где минуту назад местность тонула в ослепительном солнечном зареве, а теперь погрузилась в настолько плотный мрак, что глаза больше не могли различать деталей.

«Выхода нет, – добавил отец и твердо кивнул головой. – Кто первый найдет его – тот и выиграл...»

– Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо все мятется всяк земнородный... – бубнила невысокая молодая монахиня в черном облачении, стоявшая спиной ко входу.

Добравшись в Ля-Гард-Френэ около часу дня, Петр с Мартой вошли в дом, где их сразу проводили к гробу. Лица вокруг были незнакомые.

– Тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищии. Тем же Христе Боже, преставльшиися упокой, яко человеколюбец... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь...

Поражала не только русская речь, не ее вечный и немного ускользающий от понимания смысл. Слух быстро проникался звучанием слов и уже через минуту не улавливал чужеродных нот, которые чем-то саднили в первую минуту. Поражала не атмосфера, царившая в доме, не осторожное и враждебное шарканье чьих-то ног, раздававшееся за спиной, а то, что кто-то чужой хозяйничает в комнате отца, ни на кого не обращая внимания, словно имел на эту комнату и на ее бывшего обитателя какие-то свои права, никому до сего дня не предъявленные.

Молодое, немного пресное лицо девушки-монахини выглядело очень русским. Как она сюда попала? Кто успел организовать всё за утро? Почему читают Псалтырь?.. Из-под края черного наряда монахини выглядывали носки светских дамских туфель, что придавало ее силуэту что-то непрофессиональное, случайное и в то же время трогательное, как казалось Петру. Опять праздные мысли! Аналогичное впечатление производил и приглушенный, казавшийся простуженным голос читавшей.

Гроб стоял в отцовской гостиной. Гробовое изножье, обложенное пальмовыми ветвями, тонуло в полумраке. Горько-сладкий кадящий запах, наполнявший комнату, чувствовался во всех комнатах и даже на улице перед входом в дом. Само «тело», возвышающееся над створками узкого гроба – гладкий лик с заостренным носом, впалые щеки, высокий, угловатый лоб,

который лоснился больше чем вся безволосая голова, тело «приснопамятного раба Божия», – всё это не вязалось с привычным образом отца. Едва Петр думал о нем, и он видел отца живым. То, что предстало глазам здесь, в комнате, казалось оболочкой, какой-то полый емкостью. Таинственный процесс отчуждения, происходивший под этой оболочкой, уже успел наложить на всё отпечаток, но еще не настолько, чтобы удавалось невооруженным глазом уловить превращения, происходившие в материи, и воспринимать их как наглядное подтверждение тому, что каждый смертный знает вроде бы отродясь. Жизнь не могла вместить в себя смерть. Петру казалось, что отца здесь попросту нет...

Утро выдалось ветреное. Ослепительное солнце заливало округу лиловой мутью. Мистраль гулял даже по кладбищу и рвал на собравшихся одежду. Женщинам приходилось придерживать юбки руками, отчего позы у всех были неестественные. И всё же что-то светлое мелькало из-под юбок при каждом новом порыве ветра.

Мать Петра, напару с тетушкой Надеждой, и родители Мари Брэйзиер, пожилая чета из Тулона, сбились в стайку у могилы. Мать прилетела на похороны с «новым мужем» – так родственники продолжали звать здоровяка Корнелиуса, с которым она жила уже скоро двадцать лет. Чтобы не устроить своим появлением лишнего переполоха, на кладбище Корнелиус не пришел, предпочел переждать в гостинице, но эта чрезмерная тактичность всё же граничила с малодушием.

Остальная родня, все в траурном, с которой покойный близких отношений не поддерживал, держалась в стороне, тесня друг друга при выходе на аллею, где толпились и по давню посторонние, в родстве с Вертягиным не состоявшие, все те, кто посчитал уместным прийти на кладбище, но отводил себе место в последних рядах.

Впереди этой последней группы маячила приземистая, вросшая в землю фигура дряхлого, хромого господина с тяжелыми глазами навывкате – старик Вельмонт, которого Петр не сразу узнал, настолько тот постарел, отставной судья и давний друг покойного по Парижу. Особняком высился силуэт уже пожилого врача Дюпрата; плохо состарившийся, обрюзгший, с пустоватыми глазами многодетного и изнуренного заботами семьянина, он примкнул к компании чужих людей то ли по рассеянности, то ли поскромничав, раз уж никто не признавал его за своего.

Мари Брэйзиер, двоюродная сестра Петра из Тулона и единственная из всех родственников, с кем Петр поддерживал отношения в обычном смысле этого слова, стояла с мужем в промежутке между стайкой родственников, отторгнутых к аллее, и своими родителями. Ладонями придерживая на бедрах юбку черного костюма и выставив кверху коротко стриженный затылок, что придавало ее силуэту что-то обреченное, Мари даже здесь, на кладбище, похоже, собиралась играть свою обычную роль – роль связующего звена между родственниками, не будь которого все они давно перестали бы видеться.

С небывалой остротой ощущая в этот миг всю необычность своих отношений с Мари – в том виде, во что эти отношения вылились после того, как годы назад между ними возникла кратковременная близость, – Петр, как никогда, осознавал всю свою беспомощность. Что он мог изменить? На что он рассчитывал все эти годы? Его охватило еще большее опустошение. Ему вдруг показалось, что даже Арсен, муж Мари, невысокий сорокалетний сибарит в черном блейзере, с недовольной миной топтавшийся пообок от нее, не мог не сокрушаться о том же. Эгоизм жениной родни – не был ли он возмутительным? А если так, то и он, Арсен, тоже имел все права держаться от этой «родни» подальше. Случись что-нибудь подобное с кем-нибудь из его родственников, и весь этот люд, съехавшийся на похороны Вертягина, отделался бы одними письменными соболезнованиями, а поголовное большинство не нашло бы в нужный момент даже адреса, чтобы исполнить сей тягостный ритуал...

Внимание приковывала к себе еще одна пара. Средних лет стройную особу в шляпке с вуалью поддерживал под локоть сосед отца. Это был художник Жан, местная знаменитость.

Ему покойный и продал в свое время половину усадьбы. Сухопарый, в годах, с женским лицом, прозрачностью своих холодных и водянистых глаз распугивающий, как могло показаться, птиц на соседних деревьях, – художник Жан припелся на кладбище в старом рыбацком свитере, в резиновых сапогах и берете. Сам факт, что он мог позволить себе заявиться на похороны соседа столь небрежно одетым, свидетельствовал о его особых отношениях с ним. Но его и вправду связывала с покойным настоящая дружба. Это знали все, отчего резиновые сапоги еще больше приковывали к себе взгляды родственников. Как, впрочем, и присутствие незнакомки, метиски креольского типа, которую художник держал под руку.

Мать мимоходом шепнула Петру на ухо, что это и есть та самая «подруга» отца. Последняя. Учительница из местной школы. Петр, как и все, был наслышан об этой истории, но впервые видел последнюю спутницу отца воочию. И от него не могло ускользнуть, что мать держится с этой женщиной подчеркнуто обходительно, с таким видом, будто чувствует себя ее должницей. Ему казалось странным видеть мать и креолку вместе. Казалось, что они пришли хоронить каждая своего покойника...

После кладбища, когда все вернулись в дом, был накрыт легкий стол. Народ сонно и молчаливо столпился в гостиной. Мари Брэйзиер и Марта, обе бледные, невыспавшиеся, обходили гостей с подносами. Для одних заварили чай. Другие разбирали рюмки с ледяной водкой. Атмосфера кое-как разрядилась. Сдержанный гул бубнящих голосов вскоре заполнил весь дом. Но к часу дня гости стали разъезжаться. Родители Мари приготовили у себя в Тулоне поминальный обед, и большинству предстояло добираться туда своим ходом.

Петр вышел на улицу, чтобы проводить к машине доктора Дюпрата, который не мог поехать со всеми в Тулон. Заодно нужно было распорядиться о проводах девушки-монахини на вокзал – она могла опоздать на поезд. Подойдя к ней, Петр протянул ей конверт с деньгами. И когда та, покорно приняв подавание, отошла к машине Мари, которая взялась подвести девушку до вокзала, он стал настаивать на том, чтобы Марта тоже ехала в Тулон вместе с Мари. Сам он намеревался приехать позднее на «фольксвагене» отца. Ему хотелось побыть одному. Так он мог спокойно просмотреть бумаги, отложенные для него отцом, чтобы из Тулона они с Мартой могли вернуться напрямик домой, в Ля-Гард-Френэ уже не заезжая...

Последняя машина выехала со двора, и Петр вернулся в опустевший дом. Какое-то время он бродил по комнатам, вдруг спрашивая себя, зачем остался здесь один. Вновь и вновь останавливаясь перед окном, он подолгу разглядывал пестренький сад, почему-то пересчитывал кусты, те из них, на которых виднелись остатки цветения.

Слева участок смыкался с ельником, а правее, открытый настежь, без изгороди, сад взбежал к холмам. Минуту назад залитые солнцем бугры затянулись серою дымкой. А затем, не прошло и четверти часа, ветер понес в окна морось. Дождь перешел в настоящий ливень. В комнатах стоял шум. Ливень бил в окна, и было такое чувство, что кто-то тычет в стекла метлами.

Обнаружив в кухонном шкафчике бутылку коньяку, Петр нацедил себе большую рюмку, с удовольствием осушил ее, оседлал стул перед окном и, глядя в дождевую муть, машинально перебирал в уме сказанное матерью на прощанье. В Тулон она, разумеется, не поехала. Там собирался совсем не ее круг.

– Всё, что папа оставил, нужно оформить на тебя. Я всё подписала. В Париж не поеду. Жду тебя в Джерси. Приезжай, когда хочешь... Дом для тебя всегда открыт, ты же знаешь...

Когда он успел наобещать приехать в Джерси? Когда она успела что-то подписать? Что именно? Что отец мог ему оставить? Ведь он давно всё раздал...

В последний раз Петр приезжал в Ля-Гард-Френэ больше трех лет назад. И даже если он знал, что отец стал жить скромно, затянув ремень не из-за нужды, а потому что так однажды решил – под старость лет с одержимостью, какая встречается только у стариков, взявшись за

воплощение своих давних принципов, которые не удалось реализовать за всю жизнь, – Петр был всё же поражен бедностью обстановки, в которой отец закончил свои дни.

«Самоограничение» отца превосходило его худшие опасения. Воздержание обернулось нездоровым аскетизмом. В доме почти не осталось мебели. Скрипучие стулья. На весь дом – два стола, один на кухне, другой в кабинете. Кожаный диван, купленный тому лет двадцать, Петр помнил еще новым. Промятый и в дырах, диван, как и четверть века назад, издавал до странности знакомый, родной запах кожи. В спальне осталась лишь узкая деревенская кровать и тумбочка. Стены – беленые, голые будто в келье. Куда подевалось всё остальное? Мебель, картины, книги? А впрочем, стоило ли удивляться? Отец давно пытался отдать ему все ценные вещи. И зря он отказывался. Боязнь вещей? Бегство от материального мира?.. С годами всё это вылилось в настоящую болезнь. Но как она называется?

Жилым уголком, в котором были заметны хоть какие-то следы реально жившего здесь человека, выглядел разве что кабинет – крохотная комнатка с окном на дорогу и на задворки соседей. Над столом висела двустволка с вертикальными стволами итальянской марки «franchi». Тут же – крохотная гуашь Брака под стеклом, подлинник. Рядом – фотопортрет деда Александра Ивановича в форме штабс-капитана времен крымской эвакуации, которого Петр больше помнил по последней встрече, произошедшей, когда ему было десять лет, в Англии, где он провел некогда три года в интернате. На другой стене висело уже несколько снимков бабушки Анастасии, пережившей деда на тридцать лет. В саду Тюильри. В своей мастерской под Биаррицем, где она, профессиональный скульптор-анималист, занималась лепкой домашних животных, кошек, собак, коров, лошадей. На других мелких снимках, собранных в одной рамке, бабушка несчастно морщилась от солнца и была уже совсем старенькой, неузнаваемой под полями соломенной шляпы, похожей на всех очень стареньких бабушек. Эти снимки были сделаны уже под Шамони, где она провела последние годы, не покидая санатория для туберкулезных больных. Там он и видел ее, уже напоследок, однажды поехав ее проведать вместе с отцом. Сверху, с опустошенного книжного шкафа, скалился квадратный лев работы бабушки – литье из бронзы. Он, будто сфинкс, сторожил вход в невидимый мир воспоминаний.

Всё это принадлежало другой эпохе, давно канувшей в Лету. И она очень мало имела общего с сегодняшним днем. Было ли в нем самом хоть что-то от этой эпохи? Положа руку на сердце он считал – что нет. Черты лица? Угловатость скул? Посадка глаз, чем-то напоминавших глаза деда и выразивших всегда нечто непонятное – смесь задумчивой созерцательности и горделивой иронии, что придавало всему облику что-то нарочито монументальное и было свойственно всем Вертягиным, в том или ином возрасте? Поставь рядом два человека, сравни их – и увидишь то же самое сходство.

Эти два мира – настоящий, о котором напоминал стук дождя по стеклам, и канувший, унесенный отцом в могилу – отличало что-то несоразмерное. Петр не мог перебороть в себе чувства, что мир, в котором он живет сегодня, в чем-то деградировал по сравнению с миром родителей. А о том, в котором жили их родители, бабушка и дедушка, и говорить не приходилось. Но может быть, это и есть вырождение? Что мог думать отец о его жизни последних лет? Считал его жизнь пустой, несостоятельной? Но и сам он недавно смотрел на всё совсем по-другому. Безбедное, холостяцкое существование, уважаемая, но не мещанская профессия, благодаря которой перед ним открывались все двери... – выбор и никаких лишений. Можно ли желать чего-то еще?

Сегодня всё это казалось пустым, мнимым. И выбор, и благополучие. От прежних запросов, от прежних иллюзий не осталось камня на камне. В чем же тогда не прав отец?

Да, бесспорно, он был вырожденцем. И именно поэтому обладал живучестью и способностью приспособливаться, которая обычно свойственна гибридам. Вместе с тем Петр ощущал свою породу. Возможно, поэтому он никогда и ни в чем не испытывал полного удовлетворения и нигде не чувствовал себя как дома. Поэтому и слонялся по миру, пока был молод? Пока еще

строил себе иллюзии, что нужную смесь, в нужной консистенции – смесь самого смысла и того, что смысла иметь не может... – можно обрести простым смешиванием ингредиентов, таким взбалтыванием.

Иногда Петру казалось, что он неправильно расставляет акценты. Разве все эти опасения, догадки на свой счет и страхи не были ничтожными по сравнению с тем, что любому человеку предстоит реально пережить на своем веку? Жизнь задавалась куда большими величинами, совсем другого порядка. Родословная – это ли не последнее прибежище? Разве не здесь сбиваются в кучку люди беспомощные, слабые и чаще всего лишенные настоящих корней?.. Но в этом вопросе хотелось определиться окончательно. И иногда это нет-нет да удавалось. Иногда в душе сладко немело от прозрения...

Это чувство охватывало его каждый божий раз, когда над летним полем розовел закат, когда чей-нибудь чужой пес лизал ему руку, когда попадались хорошие книги, написанные на языке, которого он не учил или говорил на нем плохо, когда он встречал женщин одной с ним породы, не обращающих на него внимания, когда к нему без всякой видимой причины, но с боязнью относились дети, когда на улицах чужого города пахло знакомой вкусной едой, когда из бутона еще не распустившейся розы начинал сочиться запах прошлого, материнской доброты, забытого первого греха, а из стакана виски неожиданно пахло надушенным мужчиной, из бокала шампанского – снегом, из чашки остывшего кофе – старой кошкой, похороненной под кустами, когда он был еще ребенком, в лесу же пахло могилами родственников, от скошенной травы – потом, а от собственной жизни – чем-то тлеющим или уже горелым, ну и так далее...

Мир был безмерным именно в своем единообразии. Единообразие являлось одной из его главных ипостасей. Жизнь же была непрерывным сворачиванием в бесконечность. Бесконечность, начинавшаяся из ничего, может, как известно, уместиться на острие иголки. А поэтому что могло быть важнее, чем сам процесс, чем единичное в целом? И отнюдь не причинность! Она лишь приводила к путанице. Но как это всегда и происходит с простыми самоочевидными истинами, это еще требовалось доказать. В то время как доказать такие вещи, разумеется, невозможно...

К Брэйзиерам в Тулон Петр так и не поехал. На телефонные звонки решил не отвечать, хотя и понимал, что звонят из Тулона. Марта, да и Брэйзиеры конечно же волновались, не понимали, куда он пропал.

Он принес в кабинет отца коробки со старыми бумагами, которые решил увезти с собой в этот же раз, чтобы разобрать их дома, поскольку бумаг было слишком много. Петр распаковал первую коробку, самую увесистую, и принялся выкладывать содержимое на стол.

Набитые фотографиями канцелярские папки, конверты, свертки, прозрачные целлофановые чехольчики со всякой чепухой. В почтовом конверте с непогашенной английской маркой лежала коробка из-под цветочной соли из Геранды, а в ней два кожаных детских башмачка из бордовой кожи, на одном из которых красовалась наклейка с надписью по-английски: «Пете три года». В другой коробке была припрятана стопка писем матери тридцатилетней давности, с адресами материной сестры, жившей в Англии, в Веллингтоне, неподалеку от которого, близ Бристоля, его и определили когда-то в интернат – ничего хорошего в памяти не оставивший. Здесь же попала и пачка писем отцу.

Наугад открыв один из конвертов, Петр пробежал глазами по строкам и был озадачен тем, что не узнавал по написанному собственную мать. Она писала отцу по-французски:

«Дорогой Николая! Мне стыдно перед тобой за случившееся перед отъездом. Не сердись на меня! Я была не в своем уме! Господи, здесь в Лондоне на всё смотришь новыми глазами. Наши дразги кажутся вдруг такими ничтожными. Они недостойны наших отношений.»

Не успела приехать, а уже изнемогаю от скуки. Большие не могу избавиться от чувства смертельной тоски, которая преследует меня каждый раз, когда я попадаю сюда. Ты прав, Англия для меня – дело прошлого. Она закончилась для меня навсегда.

Рассказывать не о чем. На выходные мы забрали Петю в Лондон. Папа не хотел его отпускать, но я настояла. Мы остановились у К. – ты помнишь их. Вчера вечером сестра вошла к Пете, хотела его перед сном поцеловать и застала его за рукоблудием. Можешь себе представить ее реакцию! Она же немножко старая дева. Одним словом, она его отругала. И на следующий день он глаз не отрывал от пола, ходил как убитый.

Как на это реагировать? Мне кажется, что лучше вообще не обращать внимания. В моей семье мальчишек били за это по рукам, считалось, что это вредно. Но ведь это глупо. Как ребенок может расти здоровым с такими дикими комплексами, или с чувством вины за то, что он перестает быть ребенком и испытывает здоровые физические порывы? Не виноват же он в том, что с ним это происходит! Мне бы хотелось знать твое мнение, ведь ты мужчина и прошел через это. Напиши мне.

В Лондоне ты меня уже не застанешь. Послезавтра мы будем в Веллингтоне. Как мне не терпится отсюда уехать!

Береги себя! Нежно любящая тебя Вероника В.

Р. S. Еще два слова. Я уже в Веллингтоне. Не успела перед отъездом опустить в ящик это письмо, как Петя разболелся. Даже не знаем, что с ним произошло. Вчера на нашей улице полиция вылавливала бешеную дворняжку: собаку пришлось застрелить, на глазах у собравшихся зевак. Мы с Петей тоже наблюдали за этой бегомней из толпы, и он вдруг впал в настоящую истерику. А когда вернулись в дом, у него начался жар, со вчерашнего дня он в постели. Врач объясняет это его впечатлительностью, советует показать его психологу. Но не волнуйся, ничего страшного. Он просто бредит, бормочет что-то про футбол (я тебе не говорила, но он почти каждый день гоняет с мальчишками мяч): «Не хочу стоять на воротах!» Бедняжка! У него головка идет кругом от английского. Но думаю, что всё же привыкнет, ведь он уже вовсю щебечет по-английски. Ты не поверишь, но я вынуждена констатировать, что у него огромный словарный запас. Наверное, от меня. Он просто отказывался раньше говорить по-английски. Правда, и сейчас он предпочитает повторять одни цифры. Не понимаю, чем это вызвано, но он обожает произносить по-английски цифры... Станет математиком?»

День уже клонился к закату и над садом быстро темнело, когда в дверь кто-то позвонил.

Петр пошел открыть. На порог стоял Жан, сосед. Извинившись «за вторжение», художник виновато ткнул рукавом в сторону потемневшего ельника и сказал, что только что говорил по телефону с Мари Брэйзиер. Она попросила его сходить узнать, есть ли кто дома. Телефон не отвечает, и Брэйзиеры беспокоились за него.

Петр пригласил гостя в дом. Сосед молча прошел за ним в кабинет, минуя гостиную, и они оказались сидящими друг перед другом на стульях. Задумчиво встретившись глазами, оба продолжали молчать.

– Хотите чего-нибудь?.. Выпить.

– А что у вас есть?

– Коньяк тут был где-то...

Художник безвольно кивнул.

– Да, у вашего отца всегда был коньяк, – проронил он. – Сам он его не пил...

Петр принес бутылку. Наполнил две пузатые рюмки. Оба продолжали сидеть молча, не притрагиваясь к коньяку и почему-то глядя в чернеющий сад, а затем в опустевшую, распахнутую гостиную, которая как что-то самое емкое и вместительное во всём доме стала быстро наливаясь синим полумраком.

– Я был привязан к вашему отцу, – нарушил сосед молчание. – Чудный человек.

Петр изрек что-то невнятно одобрительное, ни да ни нет. Сосед вынул из кармана парусиновой куртки деревянный ящичек с крохотными сигарами и, открыв крышку, протянул их Петру. Петр отрицательно покачал головой.

– Отчаяние – это грех, – сказал сосед. – Ваш отец мне говорил как-то, что устал... Может показаться странным такое утверждение. Как можно устать от жизни? Все сразу думают: смотря от какой! А я понимаю... Смотря что ждешь с той стороны. Так что не унывайте. Всё так, как должно быть... Дом будете продавать или себе оставите?

– Не знаю.

– Если хотите, можете спать у меня сегодня. В вашей бывшей спальне. Ваш отец мне показывал, где была когда-то ваша комната.

Петр вскинул недоуменный взгляд и осевшим голосом проговорил:

– Я хотел... я хотел здесь кое-что разобрать. Спасибо, я останусь здесь.

* * *

Отец Петра Вертягина, Вертягин-старший, родился с русским именем и фамилией, Николай Вертягин. Но это не помешало ему большую часть жизни проходить с именем «Николя» и с фамилией «Крафт». Последняя фамилия досталась ему от отчима Крафта, немецкого подданного с русской жилкой, за которого Анастасия Вертягина, его мать, вышла замуж накануне войны, после того как потеряла первого, русского мужа.

Мать Петра, Вероника, урожденная Вероника Роуз, успела побывать за свою жизнь Вероникой Крафт, Верой Вертягин (несклоняемая форма), а еще позднее стала Гертрудой Шейн – этим псевдонимом она стала подписывать свои книги.

Сам Петр, Вертягин-младший, носил имя Питер, хотя при крещении – русская бабушка вовремя настояла на том, чтобы внука крестили в родном русском храме – получил крестное имя Петр. Во Франции имя «Питер» чаще всего преобразовывали в «Пьер». Что не помешало ему из Петра Вертягина однажды превратиться в Питера Роуза. А еще позднее он стал Питером Крафтом и в этом звании проходил до той поры, пока судьбе, обычно сторонящейся золотой середины, не было угодно разжаловать его в Питера Вертягина, – но и в этом сочетании проглядывало что-то гибридное, как считал он сам.

Отец Петра был чистокровным русским, хотя родился в Женеве, куда его мать, бабушка Петра, Анастасия Евграфовна, ездила из Петербурга каждый год; страдая редким легочным заболеванием, она проходила регулярное лечение в Швейцарии.

Голубоглазая, жизнерадостная, неугомонного нрава старушка, округлявшая французские звуки «р» на манер оперных певчих, – именно такой Петр помнил свою бабушку Анастасию Евграфовну. От слова «ривьерра» – так по старинке она называла район прибрежной Франции, в котором безвыездно провела большую часть жизни, – вибрировал воздух, и что-то мягко перекачивалось в груди. От бабушки Анастасии исходила прелесть естественного увядания.

Сметая на своем пути преграды и взгребая временное пространство, перепахивая его вдоль и поперек, эпоха, в которой она жила, летела в небыль. По сути – в тартарары. И будто поздняя осень, не успевшая окончательно поступиться своими правами, лишь еще больше оча-

ровывала своей безнадежной отрешенностью от мира реальных вещей, от мира, жаждущего обновления любой ценой...

Александра Вертягина, деда, Петр уже не застал. Дед умер в среднем возрасте от двустороннего плеврита, но всё же успел стать семейной легендой. В звании штабс-капитана он прошел всю Первую мировую войну, до сдачи фронтов немцам. Позднее, присоединившись к Добровольческой армии, прошел и гражданскую войну, эвакуировался из России через Крым, имел два ранения. Судя по фотографиям, это был рослый, темноволосый мужчина, с узкого лица которого не сходило довольно характерное выражение, свойственное в том или ином возрасте всем Вертягиным: смесь задумчивой созерцательности и горделивой иронии, что придавало облику деда нечто преднамеренное, нарочито монументальное.

Овдовевшая Анастасия Евграфовна вышла замуж во второй раз – за состоятельного немецкого дельца по фамилии Крафт, который промышлял винной торговлей между Рейнской областью и Францией. Русского происхождения, Крафт был обязан своей немецкой фамилией германским кровям, в роду давно растворившимся. Крафт, как и бабушка, был вдовцом. От прежнего брака он воспитывал двух дочерей – Эстер и Анну. Анастасия Вертягина, уже немолодая, родила ему третью дочь, Надежду. Остальную часть семьи война раскидала по всем концам Европы.

По поводу происхождения самой фамилии «Крафт» в семье сохранилось несколько различных поверий, одно причудливее другого, уже по той причине, что эта фамилия имела яркие аналоги. Например, встречалась у Достоевского в «Подростке», где описывалась история немецкого студента, жившего в России, который вдруг открыл для себя, что Россия – второстепенная держава, не имеющая никакой особой миссии, а тем более мирового призвания, как многим грезилось. На этой почве студент Крафт пустил себе пулю в лоб.

Крафт-виноторговец закончил свои дни самым что ни на есть естественным образом – благообразно угас от старости в Ля-Гард-Френэ, одном из своих поместий. Но по рассказам, именно такие взгляды в отношении своей исторической родины он исповедовал на протяжении всей жизни. Ни в «миссию» России, ни в то, что она несет на себе великомученический венец, Крафт не верил и не любил разговоры на эту тему...

Крафта Петр почти не помнил. Но образ бабушки с годами нисколько не потускнел. Особенно памятными для него оставались почему-то ее уроки рисования, которые бабушка давала ему в Биаррице и в Альпах, куда они ездили с отцом навещать ее. В санатории для туберкулезных больных она проводила немало времени и продолжала там лепить своих «зверушек», к этому времени уже успев обрести известность в определенных кругах – правда, недооцененную в ее собственной семье, как это часто бывает с художниками.

«Ты не мяч должен рисовать, а дырку в пространстве, похожую на твой мяч, – объясняла Анастасия Евграфовна. – Помни, вовсе не обязательно, чтобы дырка была круглая. Понял?»

«Понял...» – бубнил он, но так и не мог увязать в мыслях, как это мяч может не быть круглым. Он не понимал, как такой мяч может катиться по земле?

Анастасия Евграфовна закончила свои дни в Центральном массиве, в поместье, когда-то приобретенном Крафтом, которое долгое время сдавалось в аренду, но содержалось плохо и оказалось запущенным. Приведя имение в порядок, Анастасия Евграфовна жила последние годы одна, наотрез отказываясь куда-либо переезжать, как ни старался сын вызволить ее из глуши, предлагая ей жить вместе. В эти годы в ней появилась набожность, зачатки которой давали о себе знать и раньше. Неподалеку от села, в котором она жила, находился небольшой русский приход. Позднее отец уверял Петра, что это и явилось главной причиной переселения бабушки в те края. Прислуги бабушка не держала. Всю необходимую помощь по дому и по хозяйству ей оказывали соседи-французы, простая деревенская семья. И вот незадолго до кончины Анастасия Евграфовна обратилась к сыну и к дочерям с просьбой дать согласие на то, чтобы поместье перешло после ее смерти соседям – так она хотела отблагодарить этих людей за

их многолетнюю помощь. Воля Анастасии Евграфовны была исполнена. А впоследствии всем стало известно, что семья французских крестьян была настолько потрясена жестом русской старухи, что вскоре приняла православие – всем домом.

С фамилией Роуз, которая досталась матери Петра от первого брака, была связана уже другая эпоха его жизни. Семья и предки матери – тоже русского происхождения и тоже очень смешанного, но аристократического, с примесью финских и шведских кровей – давно осели в Англии и давно утратили всё русское. В годы войны отец Петра находился в Англии, служил в Красном Кресте. Оттуда, из Бирмингема, он и вывез во Францию свою будущую жену, в то время подданную Великобритании.

Петру с малых лет было известно, что мать – женщина особой породы. Наделенная сильным, не женским характером, она жила по своим собственным законам: домашняя жизнь ее тяготила, а интереса к воспитанию сына она и вовсе не проявляла. Эту простую истину Петр уяснил себе с ранних лет и уже тогда пришел к выводу, что мать недолюбливает малышей – за их дитячью бестолковость.

Ему было пять лет, когда у родителей возникли подозрения по поводу его отставания в развитии. Он отказывался говорить. Недуг развивался на фоне явных неладов с голосовыми связками. Голос срывался, и снадобья от горла, которыми его пичкали с утра до вечера, не помогали. Объездив местных врачей, но ничего так и не добившись, мать повезла его к знаменитому логопеду, жившему в Лионе. Логопеду не потребовалось и пяти минут, чтобы выявить причину аномалии: отклонение развивается на почве нервного стресса. Лионский логопед принялся лечить недуг сеансами пения: заставлял наизусть разучивать басни Лафонтена и петь их под произвольные, на ходу сочиняемые мелодии. Вертягин-старший считал, что никакого отклонения у сына нет. Отказ ребенка говорить был, по его твердому убеждению, следствием беспрестанной смены языковой среды, поскольку в жизни мальчика постоянно смешивались три языка – русский, французский и английский...

И чем выше в гору шла карьера Вертягина-старшего, тем всё более кочевой образ жизни приходилось вести семейству. Занимая различные посты в префектурах и супрефектурах, Вертягин-старший был вынужден переезжать по службе с места на место. Петру исполнилось шесть лет, когда отца из Нанта направили в Сен-Лоран-дю-Марони, по другую сторону океана. Ехать в Гвиану, хотя и французскую, мать наотрез отказывалась. По крайней мере, предпочитала не спешить с переселением. Отклонить назначение Вертягин-старший тоже не захотел, и ему пришлось уехать в Гвиану без семьи. Он наивно полагал, что жена с сыном не выдержат долгой разлуки.

Жизнь Петра теперь проходила в разъездах между югом Франции и Англией. Мать возила его к тетке и к своим родителям. В это же время в отношениях между родителями наметился первый серьезный разлад, и это не могло не сказаться на воспитании малолетнего отпрыска. Петр оказался предоставленным самому себе, улице и на глазах обрастал всеми законными атрибутами тротуара: научился плевать, как портовый рабочий, мог содрать шкуру с кота, участвовал в заговорах против местного кюре, употреблял выражения, от которых мать и веллингтонская тетка, родная сестра матери, дружно закашливались за столом, поперхнувшись от ритуального за ужином супа-пюре, а однажды он даже чуть не утонул в местной речушке...

Веллингтонская тетка взяла на себя хлопоты по определению отпрыска в приличную школу-интернат, где-нибудь неподалеку от Бристоля. Ради упрощения – чтобы племянник не выглядел белой вороной, или из-за оплошности, допущенной теткой при оформлении бумаг, которую задним числом невозможно было поправить, Петр был зачислен в интернат как Питер Роуз.

В один прекрасный день он был доставлен в незнакомую ему городскую чайную. Тщательно накормленный тортом с сиропом, от услады пьяный, он был усажен в пухлый таксомо-

тор, который отливал темным лаком, как когда-то отливал гроб бабушки, и через полчаса такси доставило их с матерью к воротам его будущего заточения.

Одет он был с иголки. Впервые в жизни на нем был галстук. Новая темно-синяя пара была отутюжена теткой до такой степени, что он боялся делать широкие шаги. Сжимая в правом кулаке ручку нового кожаного чемоданчика, от которого исходил запах чужого города и новой жизни, запах чего-то невыразимо горького и неотвратимого, он казался сам себе новым с ног до головы и каким-то ненастоящим. Но главные трудности ждали впереди: ему надлежало привыкать к новому имени.

Отныне он был не Петей, не Пьером и даже не Вертягиным, а Питером Роузом... Ласково заглядывая ему в глаза, мать повторила это новое имя и фамилию несколько раз подряд, пытаясь убедить его в том, что в них нет ничего неблагозвучного. Такси еще не отъехало, мать еще не успела закончить свои напутствия, а он уже понимал, что значит быть сиротой. Окаменев от страха, в этот миг Петр думал об одном: как бы по его лицу не покатались слезы, как бы опять не показаться матери «бестолковым».

В закрытой школе Петр провел не год, как обещали родители, а два года. Когда его, наконец, востребовали назад во Францию и окружающие вновь стали обращаться к нему как к Пьеру Вертягину, он озирался по сторонам, спрашивая себя, не спутали ли его с кем-то другим...

Петр считал отца человеком покладистым, легконравным, но не по натуре, а как бы по необходимости, как бывает иногда с людьми, которых изводит их же собственный характер и не поддающаяся обузданию сила воли. Легконравие, а иногда и просто добродушие, объяснялись в нем отсутствием выбора. Отец чувствовал себя вынужденным делиться с близкими тем, что он сам был бы не прочь получать от окружающих, но в то же время не мог на это рассчитывать, какие бы ни прилагал для этого усилия. Это оказывалось невозможным в силу его превосходства над окружающими, его болезненной неспособности довольствоваться добрыми чувствами к себе людей неравных...

Некоторые тонкости душевного склада отца поражали Петра с раннего детства. Сам Вертягин-старший утонченными сторонами своей натуры тяготился, понимая, что благодаря этим качествам он и располагает к себе людей, но тем самым делает их от себя зависимыми. В этом крылась одна из причин, заставлявшая его всегда и во всех случаях жизни стараться выглядеть проще, чем он был в действительности. К старости ему удалось довести в себе этот стиль поведения до такого совершенства, что на пороге собственного дома его легко могли принять за слесаря из аварийной службы.

Отец Петра прожил жизнь, ни разу по-настоящему не поступившись своими принципами. Сложный настой его убеждений был замешен не столько на протестантском воспитании, полученном от родителей, сколько на доморощенной философии, которая представляла собой некий отцеженный концентрат всевозможных идей «воздержания» и «умеренности», начиная с протестантских (хотя протестанты и не считали предосудительным, пока суд да дело, устраивать свою брэнную жизнь с наименьшими тяготами) и заканчивая «антропологическими» теориями послевоенного времени, с упором на предрасположенность рода людского к бойням и разрушениям. Стоило добавить в эту смесь щепотку сентиментальности, ароматно наперчить ее любовью к ближнему, и получалось нечто такое, что могло бы сойти за внутреннее благородство, в какой-то редкой необычной форме, если бы всё это можно было ежедневно использовать или хотя бы просто по-человечески терпеть.

Петр был еще подростком, но инстинктивно уже понимал, что мать его создана для другой жизни и что здесь вся суть разногласий между родителями. Оба они требовали друг от друга невозможного. Отношения между матерью и отцом были страстными, как между молодоженами. У Петра доли сомнений не было в том, что мать питает к отцу глубокое, полное самоотречения чувство, с безнадежностью и внутренней преданностью пронеся его как жертву

через всю жизнь, и что она оставалась преданной ему даже после того, как они разошлись и жили врозь, вплоть до его кончины. Но в ее любви недоставало женской кротости. Так же как в любви отца недоставало обыкновенного мужского великодушия.

Родители развелись, когда Петру было шестнадцать лет – отец служил в это время в посольстве в Брюсселе. Не прошло и года, как мать вновь вышла замуж – за сына известного в сороковых годах писателя. Новый муж был ее моложе на десять лет. Мать поселилась с ним в Бургундии, начала и сама писать прозаические опусы – не иначе как под влиянием родовых традиций нового мужа. Позднее они переселились на Джерси, жили на острове большую часть года, и в это время мать издала свой первый «розовый» роман. Как только он появился в свет, она разослала экземпляры родственникам и этим поступком не одному из них подкосила здоровье: родственники восприняли выход опуса как личное оскорбление, тем более что в качестве «материала» мать использовала всем известные семейные эпизоды, значительно их подсолвив. И если бы она не воспользовалась псевдонимом – под этим покляпом на свое прошлое мать поставила подпись «Гертруда Шейн», – родственники добились бы через суды ее сожжения на костре.

Единственным из всех, кто отреагировал на событие целомудренно, был отец Петра. Перелистывая книгу, он хохотал и даже находил ее «занятой». Роман был написан по-английски и вышел во Франции мизерным тиражом. Аналогичная участь ожидала все книги матери, вышедшие из-под ее пера и позднее.

Просматривая первую книгу матери, красиво изданный миниатюрный томик в двести страниц, Петр больше всего поражался следующему сопоставлению: коль скоро мать разбиралась в «вечном» вопросе с таким гурманством, получалось, что и сам он был обязан своим появлением на свет изощренному излиянию чувств между людьми, «любившими друг друга для того, чтобы мучить или не измучиться вконец друг без друга...» – такими откровениями мать озадачивала с первой же страницы. Петр не мог в это поверить. Родители были для него такими же нормальными людьми, как и большинство окружающих, и в своем отношении к «вечному» вопросу производили впечатление людей скорее чопорных, чем раскрепощенных, эмансипированных...

Долго не протянул в холостяках и Вертягин-старший. Но в отношениях со слабым полом ему не везло всю его жизнь. Вертягин-старший женился в общей сложности трижды. Эта сторона жизни отца стала Петру по-настоящему понятной лишь с годами. Отец был влюбчив, как герои старинных светских романов. Платоническое брало над ним верх вопреки его воле, являясь следствием чрезмерной совестливости. Слабый пол покорял его прежде всего своими «слабыми» сторонами, нуждой в защите. И он каждый божий раз попадал в эту ловушку, несмотря на то, что в душе испытывал более здоровые, более реалистичные потребности, чем те, которые считал для себя обязательными...

Во второй раз отец оказался пленен пятидесятилетней голубоглазой блондинкой. Дама его сердца в молодости была фотомodelью, затем лишилась одной груди в результате маммотомии, но от онкологической болезни смогла оправиться и теперь жила на скромную ренту. Звали ее Элизабет. Отцу это имя не нравилось. Отличаясь тяжеловатым чувством юмора, он стал называть ее в шутку Мишель – из-за ее сходства с Мишель Морган, знаменитой в те годы актрисой. Но сходство действительно многих поражало. К этому времени отец совершенно облысел, давно был не молод, и Петру казалось непонятным, чем он мог снискать к себе расположение такой женщины.

– Видишь ли, Пьер, у нас с твоим папой не то что нетипичные отношения, а как бы тебе сказать... не то чтобы очень обыкновенные... – такими сложноподчиненными предложениями отвечала Мишель, она же Элизабет, на его расспросы. – Но ты поймешь когда-нибудь. В двух словах всего не объяснишь.

Из сказанного Петр делал вывод, что оба продолжали жить по-старому, оставаясь свободными друг от друга и сойдясь в пару немного как друзья по несчастью. Для Петра давно перестало быть тайной, что отец не выносил жизненных перемен, устал от них. В это время в нем уже давала о себе знать родовая склонность к уединению. Петр как будто бы понимал, что как раз такого рода отношения с женщиной, отличающиеся умеренностью, лучше всего подходили темпераменту отца, позволяли ему сохранить в себе внутреннее равновесие, чем он так дорожил. Но ему трудно было представить себя на месте отца. Ни в какие ворота не лезло, например, то, что отец и «Мишель» продолжали обращаться друг к другу на «вы» даже в домашней обстановке и переходили на «ты» при посторонних, – они делали это для отвода глаз, чтобы не шокировать своими манерами и привычками.

Жизнь отца опять окутал туман. Но Петр уже не удивлялся тому, при каких обстоятельствах этот брак распался.

Вертягин-старший, а точнее, дипломат Крафт получил новое назначение, несколько понижавшее его в должности: его послали в Россию, в Ленинград, на пост генерального консула. И вот по приезде на место вскоре обнаружилось, что его половина, отправившаяся в Советский Союз вместе с ним, оказалась не совсем той, за кого ее все принимали. Неприятности начались со странных смешков и, собственно говоря, с безобидного запоя. Ничего подобного раньше Мишель себе не позволяла. Запой повторился вновь. Всё это ставило консула Крафта в неприглядное положение: такого рода эксцессы не вязались с его рангом и статусом.

И вот перед поступлением в университет Петр решил навестить отца в Ленинграде. Поездка выпадала на рождественские праздники. Отец был в прежнем расположении духа. На стол по вечерам подавали манную кашу. Консул Крафт считал непристойным щеголять французской гастрономией в стране, в которой людей отучили отличать говядину от свинины. После Рождества Петр продал консульскому повару свою машину, «ауди», на которой приехал в Ленинград через Финляндию, он собирался возвращаться назад поездом через Москву и заказал билет на второе января. А в самый канун новогодних праздников Мишель устроила в консульстве сцену: полуодетая, с вывалившейся из комбинации единственной грудью, она носилась среди бела дня по служебным помещениям, скандалила, обвиняла сотрудников в том, что они что-то от нее прячут, а ночью, когда кризис вроде бы миновал, незаметно встала, бродила по залам резиденции, выходила раздетая на балкон, в морозную русскую ночь, и в буквальном смысле слова куковала...

Только позднее, уже в Париже, стало известно, что Мишель была настоящей клинической больной с многолетним стажем. Отец, как выяснилось, даже не догадывался о том, что его ненаглядная неоднократно проходила лечение в лечебницах и, помимо всяческих банальных отклонений, страдала тяжелой формой лунатизма или чем-то в этом роде. По мнению психотерапевтов, под наблюдением которых она находилась, течение ее болезни не позволяло строить особенно оптимистических прогнозов...

Три года, проведенные в Советском Союзе, наложили на Вертягина-старшего неизгладимый отпечаток. Это замечали все. Во Францию он вернулся надломленным, сентиментальным, не то просто безвременно состарившимся человеком. Первое время он продолжал ходить на работу в министерство в Париже. Затем получил новый пост – в Нантское отделение, где занимался курдским вопросом, и с этого дня «гуманитарная» деятельность стала его основным занятием. В этот же период в прошлое канули все его негибимые принципы. Сам он оставался им верен, но перестал навязывать их другим. Само по себе это было уже большим прогрессом. В это же время было принято решение о продаже фамильного дома в Ля-Гард-Френэ и большей части прилегавшего к дому участка – той половины парка, на которой находился бассейн. Отец намеревался оставить себе лишь клочок земли с ельником, на котором ютилась старая хибарка, рассчитывая ее перестроить и приспособить для жилья...

С тех пор как Петр жил самостоятельной жизнью, отец впервые оказывал ему настоящую материальную поддержку. В этот период и произошло их последнее сближение. Отец больше не осуждал его за беспутную жизнь и перестал обзывать «вечным студентом». Но если разобраться, то в общем-то и не имел больше причин снимать с Петра стружку. Два года литературной учебы Петру опостытели, он поступил на юридический факультет, в Нанте же, и уже успел перевестись в Париж, изучал право. Он повернул именно на ту стезю, которую Вертягин-старший прочил ему с самого начала. Единственное, что вызывало в отце прежнее неприятие, – это бесцельная, как он считал, езда сына в Москву. Вертягин-старший воспринимал «тягу» сына к своей исторической родине как личное фиаско и предрекал Петру серьезные неприятности...

Симбиоз в отношениях продержался аж до выхода отца на пенсию и до очередной амурной эпопеи, которая произошла с отцом уже после переезда на юг. На этот раз Вертягин-старший не устоял перед ослепительными чарами красавицы-креолки моложе его лет на двадцать. Новая избранница отца годы назад была «подругой семьи». По слухам, она работала учительницей в лицее под Каннами. Вернувшись в Ля-Гард-Френэ, отец перестроил свой домик, продал трехкомнатную квартиру у Люксембургского сада, чтобы помочь Петру окончательно определиться с жильем, и жил всё скромнее. До Петра доходило, что отец стал жертвой настоящей страсти, которую скрывал ото всех. О родственниках и знакомых и говорить не приходилось. Уж он-то понимал, как родня отнесется к тому, что он живет с молодой креолкой. И всё это длилось уже до конца...

* * *

По возвращении с похорон в Гарн Петр провел несколько дней дома безвыездно. Фон Ломов обещал заехать в Гарн среди недели, чтобы всерьез обсудить очередные новшества, назревавшие в кабинете, которые ни у кого в конторе больше не пробуждали ни малейшего энтузиазма, поэтому ему и требовался союзник. Однако визит свой Фон Ломов переносил со дня на день, до выходных увидеться так и не удалось...

Воскресное утро Петр провел в розарии, решив удвоить настил сена под кустами. Закончив с розами, он взялся за ограду. Рулон непрозрачной зеленой сетки был куплен месяц назад, но руки до нее всё не доходили. С первым снегом, выпавшим впервые за несколько лет, участок поредел. Розы даже сбросили листву, и чтобы они не обмерзли, пришлось прикрыть их с наветренной стороны полиэтиленовыми мешками для мусора, из-за чего ограда стала прозрачной, особенно по правому периметру, где участок распахивался на голые газоны соседей. Сад выглядел голым, неухоженным.

Петр выволок из подвала рулон, перетащил его на газон, раскатал, отмерил нужные десять с половиной метров и, как следует повозившись, чтобы протащить сетку между кустами, не обломав ветки, стал укреплять ее проволокой поверх старой металлической сетки с крупной ячейкой. От неудобной позы уже через десять минут трудно было разогнуть спину, ныло в пояснице. То плоскогубцы, то моток проволоки выпадали из рук. Сетка то и дело заваливалась набок, будто лишившаяся чувств живая туша. Уже дважды пришлось начинать всё сначала. Он хотел обойтись без чужой помощи, но уже понимал, что вряд ли справится сам.

Утро вновь выдалось пасмурное. Сад скисал от переизбытка влаги. Беспросветный сероватый вид нет-нет да брезжил сквозь туман над лугами, но лишь на несколько минут и не дальше чем на пару сотен метров. Затем всё опять обрывалось в непроглядную зыбь, и взгляд упирался в молочное месиво.

Во всём поселке стояла мертвая тишина. Жители то ли еще спали, то ли все поразъезжались. Унылый вид расквашенной нивы за нижней оградой и поутру растрепанного, съезжившегося от сырости леса, который сверху, будто лапой, накрывала тяжелая хлябь, гробовая тишина

вокруг, нарушаемая пугливым птичьим посвистыванием, ни тепло, ни холод, но что-то среднее... – уже по одним этим признакам было очевидно, что непогода гарантирована на весь день.

Петр вдруг засомневался в необходимости затеянных благоустройств. Нужно ли было браться за всё это в одиночку, в отсутствие Марты? Он засомневался вдруг во всём на свете.

Вот уже неделю, едва он вернулся домой с юга, он не переставал ловить себя на мучительном и неотступно преследующем его ощущении, которое врывалось в него неожиданно, но вновь и вновь возвращалось, что всё вокруг, весь окружающий мир стал каким-то иным – более серым, каким-то более рыхлым, непредсказуемым. Даже он сам, вся его жизнь, та немалая ее часть, которую он отдавал конторе, и львиная ее половина, как ему казалась, проходившая дома, – во всём появилась какая-то новая неопределенность, забытая, но узнаваемая, распознаваемая почти физически, которой он не испытывал уже несколько лет. Он это подмечал даже в лицах окружающих. Преследовавшее его чувство было реальным, физическим, но при этом настолько неуловимым, что его невозможно было выразить словами. Это был какой-то внутренний запах...

Земля уплывала из-под ног. Прочной почвы под ногами не стало. Вместо этого – зыбкая уверенность, бравшаяся тоже неведомо откуда, что хвататься за мнимое равновесие бессмысленно. В конце концов, упасть, провалиться – просто некуда. Да и не дадут.

Всё опять казалось временным. В мире вновь не хватало какой-то ноты, которую он всегда и с ходу улавливал каким-то внутренним слухом, но как-то не очень обращал на нее внимание. Однако как только эта нота затихала, наступала не тишина, как ни странно, а наоборот – в жизнь сразу врывалась какая-то новая какофония, и появлялось чувство, что нужно всё начинать сначала...

В Версале он не появлялся по два-три дня подряд. К обычной работе душа не лежала. Приходилось себя пересиливать. Но сколько это может продолжаться? Однообразие привычных жестов, действий, поступков, решений... – всё это приносило определенное равновесие, но на очень короткое время. Внутренняя легкость и ясность, хотя она и граничила с каким-то внутренним отступничеством от мира обычных вещей, от мира окружающего, появлялась в нем только после нескольких часов утомительной физической работы, когда он занимался в саду розами или посвящал себя хозяйству, очередному ремонту, а этого в доме было хоть отбавляй. На это и уходило всё его свободное время...

После того как треть сетки удалось укрепить и вся конструкция худо-бедно держалась сама, Петр сделал перекур. Чтобы размять одеревеневшие ноги, он выкатил из сарая тачку, загрузил ее листвой, с утра собранную из-под кустов, и когда он покатил ее вниз, чтобы вывалить под елью, где устроил компостную яму, от ворот послышался шум подъехавшей машины.

На левой аллее вскоре показался знакомый силуэт. Полураздетый, в одном пиджаке, Фон Ломов на ходу размахивал руками:

– Петр, мерзавец! Куда пропал? Почему телефон не отвечает? Я обзвонился с утра...

Петр вытер руки о вельветовые штаны и зашагал навстречу.

– А здесь не слышно, – сказал он, почему-то показав рукавом туда, где оставил воткнутыми в землю вилы, металлический штырь и лопату. – Уже двенадцать, что ли?

– Нет, так дело не пойдет... Да ты, по-моему, просто распустился... Распустился, голубчик, вот мое мнение.

Они стали не спеша спускаться вниз по газону. Фон Ломов надел перчатки и сделал ими оглушительный хлопок.

– Народ спит здесь до обеда?.. А Марта где? Она-то куда смотрит?

– Уехала. До вечера... – На лице Вертягина выступила умоляющая ухмылка.

– Хорошая тележка. У Леопольда... у дяди... точно такая же. – Фон Ломов подступил к тачке с мусором, оставленной посреди газона, и пнул ногой по резиновому колесу. – И смазывать не надо. Только неустойчивая, если загрузить, падает.

– Ну что вы там надумали? – спросил Петр. – Едете вы или нет?

– В Бретань?

– В Найроби.

– И в Найроби, и в Бретань... Я бы сразу уехал. Но у него дела. У Леопольда... Что-то Брэйзиер тебя вчера искал. Звонил, спрашивал, почему не может домой тебе дозвониться. Какой-то он... – Фон Ломов изобразил перчаткой что-то извилистое.

– Что он хотел?

– Что-то насчет дочери... У него дочь в Париже живет?

– Да, Луиза.

– Вот-вот... Красивое имя, – одобрил Фон Ломов. – Он просил, чтобы ты позвонил в конце недели. С понедельника его в Тулоне не будет. Послушай-ка... – Фон Ломов опять издал перчатками хлопок. – А почему тебе не поехать с нами? На недельку? Морской воздух, рыбалка, яхта... Какая ни есть, но всё-таки. – Фон Ломов имел в виду парусник-корыто, за бесценно приобретенный его дядей, который им напару удалось переоборудовать в яхту, ставшую достопримечательностью всей округи. – По вечерам будем сидеть у камина. Дядька вином запася. Что ты молчишь?

Вертягин вытер рукавом щетину на лице и отрицательно покачал головой:

– Нет.

– Что нет?

– Не сейчас. Тут возни на месяцы. – Он показал на кусты.

– Ну а хочешь, в Кению поедem вместе?

– Знаешь что... Если хочешь мне удружить чем-нибудь, кончай бить в ладоши и поехали обедать.

– Что тебя держит? – настаивал Фон Ломов. – Ты уже был когда-нибудь в Африке?.. То-то и оно. Поговори с Мартой. Ну в самом деле? А это всё может подождать... – И он опять пнул ногой тачку. – Найми кого-нибудь. Или денег жалко?

Переубеждать друг друга было бесполезно.

– Сетка отвалилась?

– Да... То есть нет... Новую решил натянуть. Слишком морозит в ветреную погоду. Так хоть немного защитит кусты, – проговорил Вертягин. – Розы... они чахнут от холода.

Фон Ломов с досадой замотал головой, но промолчал. Сняв пиджак, он бросил его на садовый стул и, оставшись в одном свитере, подошел к изгороди, схватил с земли свисающий край сетки, подтянул его вверх, на уровень лица, и крикнул:

– Ну что ты встал как пень? Помоги же!

Схватив с травы плоскогубцы и проволоку, Вертягин кинулся к изгороди, и они принялись ловко пропускать проволоку сквозь сетку, сразу закрепляя ее в нужном положении. От слаженных энергичных действия оба вскоре вспотели. Но в лицах появился некоторый азарт.

Когда через полчаса они поднялись в дом, Петр предложил поехать обедать в местный ресторан. Километра четыре езды. Меню не ахти, кухня итальянская. Но хозяин для своих, мол, старается.

Фон Ломов, не слыша его, с ходу стал углубляться в свою тему. Прием в состав кабинета нового компаньона, немца, должен был привести к переменам, к появлению новой и состоятельной немецкой клиентуры. Соответствующим образом Фон Ломов и обрабатывал компаньонов уже второй месяц. Разговорам о расширении деятельности не было конца. Однако прийти к единому мнению не удавалось, и Фон Ломов продолжал ратовать за перемены один. Все остальные считали, что спешка в решении вопроса лишь навредит делу, ведь речь шла, по сути, о новом направлении во всей деятельности кабинета. Бизнес, финансы, международное коммерческое право, более тесные связи с Германией, с Бенилюксом, и всё это в ущерб обычной, хорошо всем знакомой работе, которая на сегодня худо-бедно всех устраивала, –

такая «специализация» казалась неизбежной. Но пока никто не был готов к переменам. Решение требовалось более комплексное. И все лишь разводили руками, отделялись обещаниями подумать еще. Фон Ломов тем временем оказывался в затруднительном положении перед немцем-кандидатом – тот не мог дожидаться решения месяцами. И едва обсуждения возобновлялись, как Фон Ломов выходил из себя, начинал в открытую поносить кабинетную братию за инертность, упрекал всех в отсутствии амбиций и даже в безразличии к общим интересам. Был ли Вертягин менее равнодушен к теме, чем остальные?..

Вот и сейчас он опять молча расхаживал между гостиной и кухней, накрывая на стол. Почему не перекусить до ресторана? Обед мог получиться поздним.

Петр принес деревянную доску с сырами, паштет, холодный ростбиф, вареные яйца, бутылку «Сент-Эмильона» и два бокала. Гость помогал откупоривать вино, резал хлеб, но продолжал рассуждать о своем.

Холодная еда оказалась настолько аппетитной, что ехать куда-то обедать было уже бессмысленно.

* * *

Отлынивание от работы и черное уныние, написанное у Вертягина на лбу, было вызвано, как Фон Ломов уверял его, не столько его «утратой», сколько каким-то более общим, хроническим «авитаминозом». Запущенный недуг сегодня впору было лечить встрясками и «острыми ощущениями»...

Петр отмахивался. Но продолжал в том же духе. И тем лишь усугублял обиды в свой адрес. С тех пор как он жил с Мартой Грюн, его больше не тянуло на совместные развлечения, как это случалось прежде – например, вместе поехать на море или, наконец, просто пропустить за компанию по стакану виски в соседнем баре.

Самодостаточность – худший стимул для отношений. И отношения перерождались на глазах, казались лишенными внутреннего импульса, необходимости. Досаду вызывало, разумеется, и аморфное отношение Вертягина к кабинетным планам. Я, мол, на всё согласен, делайте что хотите. Согласен – да не со всем. Когда недавно к нему обратились с просьбой взять на себя часть текущих дел, которые кто-то должен был вести во время запланированного отъезда, Петр попросту отказался, удивив всех своей безапелляционностью.

Нерадивость, с которой Вертягин отнесся к банальной просьбе, вызвала тем большее непонимание, что речь шла об участии в двух рядовых слушаниях, особых потуг от него не требовавших. Практически с августа Фон Ломов не взял ни одного отгула и сегодня считал себя вправе на короткий отпуск, хотя бы недельный, перед отъездом в Кению, который был намечен на период послерождественского затишья. Из-за Петра и разногласий, которые опять сотрясали жизнь конторы, отпуск оказывался подпорченным...

Упреки в адрес Вертягина были справедливыми, как всегда, лишь наполовину. В понедельник Петр приехал в Версаль раньше всех и тут же взялся за дела, проследить за которыми просил Фон Ломов. Кроме того, он взвалил на себя и все рутинные консультации, перенесенные на понедельник с прошлой пятницы, таким образом избавляя других сотрудников от столь нелюбимой всеми обузы. Стараясь искупить свое недельное отлынивание от работы, Вертягин взвалил на себя гораздо больше работы, чем требовалось, чтобы доказать компаньонам свою преданность общим интересам.

Всё вернулось на круги своя. После Рождества, уже после отъезда Фона Ломова в Кению, Петр окончательно втянулся в рабочий ритм, и это пришлось очень кстати. Несмотря на праздники, работы всем доставалось больше обычного. Кабинет отнимал у всех по десять–двенадцать часов в сутки...

В этом году, готовясь к поездке как к настоящему паломничеству, Фон Ломов отправился в Найроби вместе с дядюшкой. Обстоятельства складывались таким образом, что дядюшке Леопольду тоже предстояло ехать в Кению, но по делам своего учреждения, в котором он работал многие годы. Частный финансово-статистический центр, занимавшийся экономическим мониторингом в развивающихся странах, результаты которого попадали на стол к директорам центробанков, аналитикам и стратегам из всевозможных фондов, направлял его в командировку по своему профилю. И раз уж планы столь счастливым образом совпадали, Фон Ломов решил подогнать свою поездку в Найроби под те же сроки, чтобы поехать с дядюшкой за компанию. В Кении им предстояло пробыть три недели...

Со дня отъезда Фон Ломов позвонил в кабинет всего один раз – утром 31 декабря. К этому дню он успел исколесить не одну сотню километров местной саванны, по телефону казался невменяемым, взхлеб описывая «колониальный рай», в который попал якобы с трапа самолета. Во время последнего телефонного разговора Фон Ломов предупредил, что останется в Найроби на неделю дольше, чем планировал. Он пообещал перезвонить после выходных. И с этого дня пропал бесследно...

В понедельник 7 января Петру пришлось дозваниваться в Найроби уже самому, чтобы получить инструкции о том, как быть с одной из клиенток, которая срочно разыскивала Фон Ломова и звонила уже не один раз. Звонившая называлась матерью «первичного» клиента, по поручению которого Фон Ломов вел на редкость несурзное дело уже второй год. Жена изменяла мужу. Адюльтер произошел в машине, на дорожной обочине. В этот самый момент случилась престранная история: другой автомобиль, несшийся по дороге, на полной скорости врезался сзади в первый. В результате изменница стала инвалидом. Официальный муж решил привлечь к ответственности любовника жены, который не пострадал вовсе, лишь отделался легким испугом. Тяжбу муж проиграл, да еще и оказался приговоренным к возмещению ущерба – в размере стоимости искореженного автомобиля любовника своей жены...

В гостинице «Найроби Серена» Фон Ломова застать не удалось. Консьерж уверял, что «мистер Лоу-моу» освободил номер два дня назад и должен вернуться только к следующему понедельнику – именно с понедельника был вновь забронирован номер. Петр продиктовал по телефону письменное сообщение в надежде, что Фон Ломов объявится и сообщит о себе, как только узнает, что нужен в Париже. Но в следующий понедельник Фон Ломов в гостинице так и не появился.

По прошествии еще нескольких дней в Версале раздался звонок дядюшки Леопольда, с которым Фон Ломов уехал в Кению. Дядюшка интересовался, нет ли в конторе новостей от племянника...

Как они могли разминуться, уехав в один день и намереваясь вернуться вместе? Леопольд звонил «из пустыни», как он уверял, как будто бы из Чада. Связь была плохая, говорить долго он не мог. Да и странен был сам тон звонка. В ответ на вопросы Петра дядюшка принялся объяснять, что «потерял» племянника в Кампале, столице Уганды, куда они вместе отправились из Найроби в первых числах января, причем «каждый по своим делам». Давние знакомые племянника по Найроби попросили его съездить в Кампалу с поручением, на правах адвоката, чтобы попытаться выволить из-под ареста французского подданного, задержанного угандийскими властями по обвинению в контрабанде.

Дядюшка Леопольд не мог толком объяснить, как так получилось, что им обоим в одно и то же время пришлось ехать по делам в одну и ту же дыру на краю света. У него, мол, тоже возникла срочная необходимость поехать в Уганду, так получилось. Точнее – в Заир, куда можно было добраться через Кампалу. Им с племянником было по пути, и они решили ехать

на машине. Оттуда, уже из Кампалы, ему, Леопольду, предстояло якобы «слетать» в Заир, а затем вместе они должны были вернуться назад в Найроби – тем же маршрутом, на том же арендованном джипе.

Объяснения Петру казались странными не только потому, что звучали путано, одно невразумительнее другого. С трудом верилось, что Фон Ломов мог проявить подобную неосмотрительность. Впутаться в историю с каким-то аферистом, никого не поставив в известность? Непонятным казалось и то, как им обоим – Фон Ломову и дядюшке – могло взбрести в голову ехать в Уганду на машине. По словам того же Леопольда, до Кампалы проще простого добраться обычными видами транспорта. Вряд ли это можно было объяснить одним желанием поглазеть на местную природу и достопримечательности, в чем пытался убедить Петра дядюшка. Племяннику, дескать, захотелось прокатиться с ветерком через Африку.

Как бы то ни было, вывод напрашивался однозначный и малоутешительный: в намеченный срок Фон Ломов в Кении не появился. «Ленд ровер», взятый в Найроби напрокат, уже пять дней как покинул, по словам дядюшки, отель в Кампале – отель «Империял», – а от Фон Ломова по-прежнему ни слуху ни духу...

В тот же день, вечером, компаньоны съехались в контору на совещание. Других новостей не поступало. Обсуждали вопрос долго и обстоятельно. В итоге решили подождать еще день-два. Выбора всё равно не оставалось. В конце концов, в Кампалу Фон Ломов ездил не в первый раз. Четыре года тому назад, в январе восемьдесят шестого, ему уже пришлось уносить из Уганды ноги, когда там вспыхнули волнения, вызванные столкновениями между повстанцами и правительственными войсками. Впрочем, никто уже толком не помнил, что именно стало причиной заварушки. Но неурочный отъезд в толпе с другими иностранцами, пытающимися укрыться от беспорядков и хаоса, в таких случаях больше напоминает эвакуацию, чем возвращение с каникул. В Найроби же Фон Ломов бывал регулярно. Эти поездки стали неотъемлемой частью его биографии. Еще до начала их совместной деятельности он ездил в Кению с поручениями бельгийского концерна, скупавшего в Африке кофе и чай, в котором работал другой его родственник, живший в Брюсселе – двоюродный дядя, и этот уже на сто процентов бельгиец. Гаспар К., бельгийский родственник, годы назад жил в Кении, с тех пор жизнь его и оказалась связана с этой страной. Племянника Гаспар К. брал с собой в Кению с детских лет, пытался расширить его кругозор, пробудить в нем интерес к Африке, а к сотрудничеству со своей фирмой стал привлекать позднее для того, чтобы помочь тому встать на ноги, когда контора в Версале только-только была основана, и этим оказывал племяннику большую поддержку.

Концерн, на который Фон Ломов работал, нес в Кении убытки, вызванные падением мировых цен на сырье, – одно время бич всего региона. Активы концерна в кенийском филиале бельгийского банка всё чаще задерживались. Нескончаемые же финансовые распри, затеваемые то с одним, то с другим производителем, становились настолько запутанными, что и десятилетних усилий десяти адвокатов вряд ли хватило бы теперь, чтобы распутать весь гордиев узел, в который срослись многолетние правовые несоответствия между законодательством обеих стран. Всё усугублял, как всегда, личный фактор: проворовались сотрудники банковского филиала в Найроби. Всех их предстояло потаскать по судам, и не за ошибки в менеджменте, а за уголовные правонарушения. Не сделать этого – гангрену уже не остановишь. Сами же разъезды между Найроби, Парижем и Брюсселем стали поводом для выкраивания себе отпусков в красивейших уголках планеты, да еще и за счет работодателей. Фон Ломов не делал из этого секрета...

Дядюшка Леопольд звонил каждый день. Новостей всё не было. В конце января ему пришлось вернуться во Францию одному, без племянника. И странное дело, при встрече, состоявшейся в городе, в кафе – Петр поехал на назначенное свидание один, – Леопольд принялся уверять его, что они рано «забили тревогу». Причин для паники якобы нет. Произошла «неувязка». И вот-вот, мол, всё прояснится. Именно выяснениями он, дядюшка Леопольд, и

занимался по своим «служебным» каналам. Разговор вышел беспредметным, немного нелепым. В какой-то момент Петр даже потерял уверенность в себе и не знал, с чего начинать расспросы.

Он не верил дядюшке. Все разумные сроки давно вышли. Он проклинал себя за легковерие, с которым с самого начала отнесся к болтовне Леопольда, не подвергая ее сколько-нибудь критической оценке. Теперь же было упущено столько времени!

В тот же вечер Петр поднял на ноги компаньонов. С утра все наводили справки, кто где мог. Обзванивали Найроби. В который раз делались попытки выяснить что-нибудь в Уганде. Гаспар К., тоже наконец всполошившийся, к новостям отнесся без легковерия. Он отругал Петра за проволочку и на следующий же день начал выяснять отношения с Леопольдом и трясти свое посольство в Найроби. Казалось, ему известно нечто такое, чего не знает никто.

Французское министерство иностранных дел пыталось, в свой черед, подсобрать хоть какие-нибудь сведения через свои каналы. Но как и водится в таких случаях, чиновники в открытую отговаривали от принятия конкретных мер. Курировавший вопрос сотрудник министерства утверждал, что угандийские власти ведут расследование, что на них вполне можно положиться. Распоряжение начать поиски исходило будто бы лично от генерала Мусевенти, президента Уганды. По заверению того же чиновника, обстановка в Уганде была спокойной и не было никаких оснований для того, чтобы пороть горячку.

И мало-помалу становилось понятно главное: никто не мог поручиться за результат, никто не знал, чем всё это обернется...

* * *

С первых же дней весеннего потепления Петр старался возвращаться в Гарн как можно раньше, до пробок на дорогах, а иногда успевал навестись домой даже в обеденное время, невзирая на потерю часа рабочего времени, который приходилось жертвовать на дорогу туда и обратно...

Период вегетации был в разгаре, и он, как никогда, тратился на садовника. Кроме садовых работ, от которых с трудом удавалось разгибать спину, Петр затеял еще и пересадку почти всех домашних растений – хотел пересадить их в горшки с резервуарами.

Согласно новой методике, которую Марта почерпнула в одном из журналов по садоводству, правильнее всего было сменить содержимое всех цветочных горшков: удалить из них обычную землю и заменить ее наполнителем в виде прокаленных шариков из пористой глины, а еще лучше прибегая к смеси керамзита с вермикулитом, перлитом, да и просто с расфасованной землей. Пересаженные в такую почву растения становились капризнее к поливу, но меньше страдали от плесени, в итоге – меньше возни. Этим он занимался не покладая рук уже на протяжении недели. Марта, как умела, помогала.

На следующий день после отмеченного дня рождения Марты – вечером она пригласила знакомых, соседей, и чтобы ни в чем ей не отказывать в этот день, Петр махнул рукой даже на присутствие актрисы Бельом, которой сторонился, – ужинать опять решили на улице. Вечер вновь выдался теплый.

Пока Марта накрывала на стол, говорили о вчерашнем вечере, об Австрии. Затем Марта перевела разговор на обещания Петра радикальным образом изменить их жизнь. Уже не первый раз Петр клялся и божился устроить с осени «полный переворот». Он уверял, что, как только завершится эпопея с Фон Ломовым и ему удастся урегулировать дела с наследством, они заживут по-новому. Зимой он обещал наконец составить ей компанию, вместе поехать в Австрию, на этот год он даже планировал поездку в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес, куда его

зывали в гости знакомые. А на каникулы предлагал отправиться в Кению или даже в Китай – на выбор, куда ей захочется...

На напоминания Марты об обещанном Петр отреагировал неожиданно. Возрастная дата, отпразднованная день назад, является якобы переломной в жизни каждого человека. С этого момента жизнь, мол, становится на годы именно такой, какая она в данный момент. А поэтому он предлагал смотреть на вещи «шире». Сесть в самолет и приземлиться где-нибудь в другом конце планеты, обогнув полполушария – подобные мечты казались ему приземленными.

И Марта вдруг почувствовала себя запутавшейся. Она не видела в дате ничего символического, не ощущала в себе ничего «переломного». Она чувствовала себя такой же, как и пять, как и десять лет назад. Но жить так, как они живут сегодня, еще несколько лет – в неизбежность такой монотонности ей действительно не хотелось верить. Или они не понимали друг друга?

Вглядываясь в медленно опускающиеся над головой сумерки, оба некоторое время молчали.

– Постоянство – это не самое страшное, – вздохнул Петр. – Почему это слово вызывает у тебя неприятную ассоциацию? У меня наоборот... – Не дождавшись реакции, он заговорил опять о чем-то другом, что, видимо, имело отношение к только что сказанному, но связь нелегко было уловить: – Когда я смотрю на звездное небо... такое, как сегодня... со мной происходит странная вещь. Во мне что-то сжигается, сжимается внутри... Иногда, когда смотришь с высоты вниз, в бездну... Ты не боишься высоты?

Марта не отвечала. Немного побаивалась, что он заговорит о «толщине настоящего», как с ним бывало последнее время.

Он же шарил глазами над собой, наблюдая за тем, чего невозможно было не видеть – как голубой небосвод начинает наливаться пурпурными оттенками.

– Разве не комична наша жизнь в сопоставлении вот с этим безумием, с этим пространством, с этим размахом?... Дух захватывает! И потом, не лишена ли она главного?... Твоя жизнь, а, Марта?

– Смысла, конечно... У тебя всегда одно на уме – смысл!

Карие глаза Марты засветились ироничным блеском.

– Неопределенности конца... Вот этого уж точно нет, – ответил он сам себе. – Но если так, то жизнь лишена настоящих возможностей. Не знаю, как это объяснить... – Он осекся, а затем добавил: – Ну представь себе: всё расписано наперед, у каждого всё написано на роду. О каких возможностях можно говорить?

Марта наложила себе в тарелку зеленого салата, взяла половинку дыни. Ей не хотелось развивать тему дальше. По опыту она уже знала, что как только его тянет на подобные сентенции, это свидетельствует не о возвышенном настроении, а совсем наоборот.

– Я считаю, что надо просто наслаждаться. Всем. Пока есть возможность, – сказала она. – Что может быть прекраснее звезд? Ничего! То-то же. Нельзя на всё смотреть... Вон-вон, смотри! – Она показала рукой в направлении холмов. – Нет, это просто самолет. Завтра день будет еще лучше, ты не думаешь?

Почерневший сад накрыла мягкая волна ветра. На террасу вынесло едва заметный аромат жасмина и еще более тонкий, неуловимый флер первых, только что зацветших роз. С участка соседей, из-за правого яруса кустов, тянуло не менее ароматной, хотя и горьковатой гарью жженой листвы, к которой примешивался запах скошенной травы, кислый, как застоявшийся винный уксус. В саду стояла пронзительная тишина. И вдруг хотелось заткнуть уши...

– Ты будешь смеяться, но в детстве я был уверен, что одни люди умирают, а другие прописаны на этом свете вечно. Ей-богу!.. Ведь никто не удосуживается объяснять детям, что к чему, – сказал он. – Попробуй объясни! А ты задумайся на секунду: что, если бы так и было на самом деле? Да ведь всё бы было по-другому. Наша жизнь была бы совершенно другой. Никому не пришло бы и в голову искать в ней смысл. Зачем? А сколько бы мы знали неверо-

ятных вещей! Подумать страшно. – Ввинтив штопор и вытащив пробку, Петр сцедил каплю вина себе в бокал, налил вина Марте и продолжал в том же духе: – Что нас сегодня всех объединяет?.. Неведение! Черный туман неведения. Конечно, видимость знания в жизни есть. Но это только видимость. Знание себя? Других, на нас похожих? Но ведь это полная ерунда! Все наши представления о себе и о мире строятся на понимании того, что всему есть предел, что однажды всё заканчивается. Отсюда и вся наша ограниченность. Ведь мир-то вечен! Как же можно знать о нем что-то главное... смыслообразующее, если мы даже не можем вообразить себе, каким образом всё это закончится? Не только наша жизнь, а всё, вообще?.. Это невероятно странно, если задуматься. И все мы в этом смысле абсолютно одинаковые.

Марта смерила его быстрым взглядом, выразившим смесь любопытства и беззащитности, пригубила вино и спокойно ответила:

– Ну и каша у тебя в голове... Во-первых, что это была бы за жизнь, если бы мы знали всё? До конца?.. Зачем тогда жить, если всё уже известно? Лично я умерла бы от скуки. А во-вторых, что с того, что все мы одинаковые? Деревья тоже все одинаковые. Не отличишь одно от другого.

Петр вдохновенно закивал. Марта перефразировала Лао-цзы, что-то близкое к таоистским перлам. Целый томик таоистских сочинений они как раз на днях перелистывали, соревнуясь в подборке самых загадочных притчей, с трудом поддающихся интерпретации. Загадочных притчей было множество. Непонятных было мало. Их особенно рассмешила притча об обезьянах и кормчем: когда кормчий предлагал обезьянам выдавать им по три каштана утром и по четыре вечером – обезьянья братия бунтовала; когда же он предлагал по четыре каштана утром и по три вечером – обезьяны ликовали.

Мнения по поводу этой притчи сразу же разошлись. Петр считал, что речь идет о силе жизненного инстинкта, заложенной во всё живое, о неукротимом, алчном стремлении всего живого к продолжению себя, просто к существованию. Марта считала, что речь идет о максимализме, который ему же часто и ставила в упрек. Она уверяла его, что максимализм – это разновидность жадности, в некотором смысле потребность получить всё и сразу, не думая ни о потом, ни о других.

– У них же нет души... у деревьев, – сказал Петр таким тоном, словно уговаривал не перечить ему.

– Откуда ты знаешь? Ты же сам только что говорил, что нам ничего не известно. Откуда, например, берется душа у младенца? Ну в какой момент она появляется?

– Вначале, – сказал он, взвесив. – В *самом* начале.

– Самое начало – яйцеклетка. Не может же она думать.

– *Душа* и *думать* – разные понятия.

– Кстати, я задала этот вопрос доктору в прошлый вторник... этому, помнишь, чудачку с золотым перстнем? – Марта имела в виду гинеколога, у которого наблюдалась в связи с неудачными попытками стать мамой. – Он мне и отвечает: «Я советую вам привыкнуть к мысли, что душа ребенка где-то уже живет. Где – нам неизвестно. Единственное, что от вас требуется, это дать ей возможность выкарабкаться наружу...» Он мне посоветовал отложить всё до осени. У них перерыв с июля, – добавила она, любую дискуссию, как всегда, сводя к своей излюбленной теме, к «процедурам», которые проходила в больнице в связи с лечением от беспричинной стерильности. – Так что лето у нас свободное. Можем ехать хоть на край света.

Петр подлил ей вина и стал кромсать на тарелке сыр. Срезав корку, он забыл о сыре и снова шарил глазами по небосводу. В вечернем небе произошла очередная перемена. Дымчато-сиреневый оттенок, минуту назад изумлявший своей неестественной, почти искусственной прозрачностью, уже переходил в мягкий фиолетовый тон, отсвечивающий как бархат, а на востоке и вовсе уже наливался черно-синей гущей чернил. Бездна над головой, от парения которой минуту назад земля уплывала из-под ног, казалась вдруг замедлившей свое враще-

ние. И весь небесный купол усыпало поблескивающим крошевом. Даже в неполных сумерках нетрудно было разглядеть Млечный Путь. Удержать взгляд на просветлении удавалось лишь на непродолжительное время, поскольку глаза тотчас свыкались, и туманность становилась неразличимой. Но стоило на несколько секунд отвести глаза в сторону, а затем опять резко поднять к небу, как полоса далекого, ужасающего своей отдаленностью светового пояса, который расчленил небо на две половины, становилась опять различимой, и дух захватывало с новой силой...

* * *

В новую атмосферу совместной жизни, во всех отношениях непредвиденную, Марта Грюн втягивалась с немалыми усилиями. Она понимала, что в жизни Петра наступила черная полоса, преодолевать которую им предстоит вместе, и что ему труднее всего бороться с приступами ипохондрии, по натуре ему несвойственной, отчего он лишь еще больше страдал от чувства вины, оказываясь безоружным перед своими слабостями. Поэтому Марта старалась обходить острые углы, старалась не заострять внимания на мелких разногласиях. Но иногда она всё же не знала, что предпринять, как и с чем именно ей нужно бороться.

Неспособность Петра взять себя в руки больше всего задевала, когда речь шла о вещах обыденных, не требующих от него ни чрезвычайных усилий, ни жертв. В том, например, как, копаясь в своих клумбах, он отказывался надевать рабочие рукавицы и стирал руки до мозолей. В том, как после розария, где перед завтраком он проводил примерно около часа, собираясь затем в контору, он постоянно забывал сменить старые стоптанные мокасины и в них уезжал в Версаль. О том же говорила его ужасающая рассеянность. Возвращаясь вечерами домой, он забывал закрыть в машине окна, а утром жаловался, что сиденья опять намокли от дождя. Что же касалось упомянутой манеры Петра делиться внезапно осеняющими его глубокомысленными раздумьями над судьбами мира сего, например, разговоры о «толщине настоящего», Марта больше не могла разобраться, где заканчивается граница их отношений и начинается что-то неподвластное ей, не подвластное никому на свете – душевная рознь, пропасть в понимании друг друга, заведомая, чуть ли не экзистенциальная чужеродность, исходно заложенная в людские отношения и даже, бывает, между людьми близкими, которая рано или поздно приводит к разобщению, если не существует каких-либо явных причин, которые бы заставляли людей эту пропасть преодолевать...

Момент был, по-видимому, не самый подходящий, но они решили, что им пора стать мамой и папой. Вопрос не стоял о заключении официального брака. Но на пятом году совместной жизни отношения требовали какого-то нового толчка. Марта заверяла Петра, что предпочитает мальчика. Петру же проще было вообразить себя отцом девочки. Почему – он не мог объяснить и отделялся расплывчатыми метафорами: ему, дескать, не удастся представить себя в роли папаши, которого преследует по пятам белобрысый дьяволенок в гольфах с тархтящим револьвером, стараясь взять его на мушку и маясь от эдипова комплекса.

После перенесенной Мартой внематочной беременности и срочной операции, в результате которой она лишилась одной фаллопиевой трубы и ровно половины, как уверяли врачи, своих способностей к деторождению, зачать ей больше не удавалось. За помощью к врачам она обратилась около года назад. По совету знакомых, они остановили свой выбор на небольшом консультативном центре для женщин, находившемся в седьмом округе, где Марте было предложено опробовать простую, но успевшую себя зарекомендовать методику «полуискусственной» инсеминации. К желаемому результату процедуры не привели. Однако они оказались сущей ерундой по сравнению с тем, что Марту ожидало впереди, после того как ее направили в другое специализированное медучреждение – центр вспомогательных репродуктивных технологий при родильном отделении больницы Антуана Бэклера, в южном пригороде, в Клараме.

Уже сам факт, что им придется пройти через это горнило, казался Петру чем-то запретным и, главное, противоречащим цели, которую они ставили перед собой. Ранние утренние визиты к врачу заставляли выезжать из дому в семь утра, а иногда и раньше. Что ни день приходилось пробиваться через пробки в другой конец Иль-де-Франса. Дорожный стресс, сама погоня за временем отравляли не только желание продолжить свой род, но и просыпаться по утрам.

Невыносимой казалась Петру и атмосфера, царившая в отделении больницы. Некрасивая, но смазливая приемщица, дежурившая за конторкой, протягивала ему стерильную пробирку для сбора «эякулята», крашеным ногтем указывала на дверь каморки, в которой теснился диванчик, стояла тумбочка со сложенной на ней кипой засаленных порнографических журналов. При виде этого чтива Петра охватывало пронзительное чувство безнадежности, чувство неверия в медицину и в прогресс. Не укладывалось в голове, как врачи могут участвовать в зарождении жизни, имея столь рациональные, примитивные представления о мужской природе? Может ли жизнь брать свое начало в кабинке для пациентов-онанистов, которые тем самым, по сути, изменяют своим женам или возлюбленным, проецируя свою потребность в продолжении рода на незнакомых, да еще и развратных женщин...

После первого же осложнения, с подозрением на синдром так называемой гиперстимуляции врач уложил Марту в стационар: жидкость, скопившаяся в брюшной полости, могла, по его мнению, подняться в легкие. Затем тот же врач, не зная, как быть с горе-пациенткой, предпочел избавиться от нее совсем. Он выдал направление в другое заведение аналогичного типа. Так они попали в частную клинику, уже в самом Париже, и к весне Марта была вынуждена переносить самые сложные и тяжелые процедуры экстракорпорального оплодотворения, с имплантацией полученных эмбрионов в «чудоносный орган», некоторые из которых проводились под общим наркозом.

С учетом возраста Марты и уже полученных результатов, вероятность исполнения заветных желаний – по шучьему велению и по моему хотению, как Петр пошучивал, охотно переводя этот перл на немецкий, – вероятность приравнивалась каждый раз к одному шансу из пяти. Такой статистикой щеголял перед ними врач, считая ее вполне приемлемой. Во время последней попытки имплантации врач решил поместить сразу четыре эмбриона, не оставляя часть из них для хранения в специальных маркированных пластиковых соломинках, помещаемых в жидкий азот, в замороженном виде, как это делалось обычно. Риск обзаведения тройней, по сведениям Петра, приравнивался теперь к пяти процентам, четверняшками – всего к 0,1 процента. Но опасения не давали ему покоя. Он не мог представить себя с тремя младенцами на руках и иногда в ужасе спрашивал себя: а что делать, если все четверо?

Подобные случаи описывались даже в ознакомительных буклетах, валявшихся на журнальных столиках приемных покоев клиник, где приходилось просиживать иногда часами. Он воочию представлял себе четырехместное детское ландо, преграждавшее проходим тротуар и заполненное одинаковыми, как две капли воды, младенцами. С той же кошмарной достоверностью он расписывал в воображении, как, помогая друг другу, они с Мартой вынимают из коляски свертки, похожие на русские голубцы, чтобы разложить их на столе для пеленания в ряд, как в кадрах про нацистские роддома, которые он однажды видел в кинохронике...

– Ну а если всё же будет трое? – высказала вслух аналогичное опасение Марта, когда они вернулись в Гарн после последней попытки.

– Двоих в тазу утопим.

– Странные у тебя шуточки, – помолчав, ответил Марта.

Она обиделась и впредь предпочитала не ставить вопрос ребром.

* * *

В первой половине июня, воспользовавшись перерывом в процедурах, Марта решила съездить в Зальцбург к родителям, которых навещала дважды в год.

В Австрии она собиралась пробыть около месяца и даже планировала взять с собой Брэйзиер-младшую, дочь тулонских родственников Петра, Мари и Арсена Брэйзиер, учившуюся в Париже на факультете прикладного искусства. Однако наполеоновские планы неожиданно лопнули. Брэйзиер-младшая попала в больницу с перитонитом, была прооперирована и нуждалась в отдыхе. Марта решила лететь на две недели раньше, чтобы вернуться к концу июля и успеть передохнуть от очередных разъездов. А собирались они ехать на южное взморье, где в этом году и планировалось провести август месяц.

Отпускные планы Марты энтузиазма у Петра не вызывали. Лазурный Берег он не любил. Если уж ехать куда-то, то лучше на атлантическое побережье или в горы, как в прошлое лето, в Верхнюю Савойю. Юг не прельщал его не только из-за жары, которую он плохо переносил, но и потому, что он не мог представить себя с Мартой в доме отца, на правах хозяина. Отговаривать Марту от поездки на юг Петр не стал, почему-то решил, что желание перегорит в ней само собой. И просчитался.

Арсен Брэйзиер вдруг предложил на август свой загородный дом. Его огромная дача в Рокфор-ле-Па, рядом с Каннами, фактически в тех же краях, простаивала всё лето. Брэйзиер не переставал названивать в Гарн, не переставал угрожать пожизненными обидами, если Петр по какой-либо причине откажется воспользоваться его предложением.

Деваться было некуда. Нотариальные дела, связанные с переходом дома по наследству, рано или поздно всё равно следовало подвести к какому-нибудь знаменателю. А для этого пора было съездить и как следует разобраться во всём с соседом Жаном насчет окончательной разбивки приусадебной территории, чего отец в свое время не сделал, просто поделил участок пополам, под честное слово.

На дом в Ля-Гард-Френэ пора было искать покупателя. Иметь дачу на одном участке с соседом, будь тот хоть трижды знаменитостью или обыкновенным дачником-занудой, решившим, что смысл всего в простом труде и уединении, каким Жан нет-нет да казался, – это выглядело недоразумением. Да и не хотелось городить в голове новые строительные планы. А расширять тесный домишко пришлось бы неизбежно, реши он оставить его себе. На деньги с продажи проще было приобрести что-нибудь в Бретани, на атлантическом побережье, где в давние времена родители снимали на лето дачу...

Отъезд Марты выпал на субботу. Петру не спалось, и он встал рано. Сходяв пешком в булочную, он растопил камин и накрыл завтрак, но не на кухне, как в будние дни, и не в столовой, а на столике в гостиной. Приготовив кувшин свежего апельсинового сока, он заварил для Марты чай, себе приготовил черный кофе, принес из подвала две нераспечатанные банки варенья, клубничное и апельсиновое, включил радио и, вслушиваясь в знакомую мелодию Листа, сидел на диване у окна и листал свежую газету.

К десяти часам гостиную залил жаркий солнечный свет. После пасмурных дней – приятная неожиданность. Из-за белизны газетных страниц Петр не мог прочитать ни строки и в то же время чувствовал себя разморенным, не находил в себе силы воли, чтобы пересесть подальше от окна.

Когда Марта около девяти неслышимо вошла в гостиную, от неожиданности он едва не вскочил, увидев ее на пороге в своем клетчатом шерстяном халате.

– Что за праздничек?! – спросила она с ноткой счастливого недоумения, заметив старательно приготовленный завтрак. – Ты давно встал?

– Недавно. Не помню...

– Боже, как на дне какой-то ямы! Мягкой, бездонной... Столько видела снов. И все такие странные! Подожди, после душа расскажу... Ты опять ночью вставал?

– Ставни забыл закрепить. Гремело.

– Тебе нужно ходить по пять, по десять километров в день. А не хлестать виски ночами!.. Ты мне должен дать слово! Иначе я никуда не поеду!

– Обещаю, – заверил он. – Открыть окно?

– Открой, конечно... Какой день, боже мой! Так всегда. Только соберешь чемоданы... Закон подлости!

Марта просеменила в ванную. Он же, сходя в свою рабочую комнату, принес кабинетные бумаги, затем, сгрузив их на диван и быстро перебрав, стал просматривать толстый блокнот в кожаным переплете, стараясь припомнить что-то важное, вдруг мешавшее думать о другом. Разве не в эту субботу в Версале было запланировано совещание, чтобы обсудить всё разом – все скопившиеся рутинные проблемы, прием в компаньоны Густава Калленборна, ситуацию с Фон Ломовым?

Марта вернулась в комнату в том же клетчатом халате непомерного размера, но уже надушенной. Она натошак курила, при этом тщетно пыталась скрыть свое возбуждение, вызванное предвкушением дороги. Вместо чая она вдруг решила пить на завтрак кофе с молоком; отказ от привычек свидетельствовал о том же – острых дорожных ощущений ей хотелось сию минуту.

После второй чашки кофе с молоком Марта закурила вторую сигарету и подседа к Петру на диван. Стараясь выпускать дым в сторону и изучая его в упор влажными карими глазами, Марта отдельно произнесла:

– Обними меня.

– Такси скоро подъедет, – проговорил он и переставил пепельницу со стола на диван. – Твой пакет... для матери... валяется у меня на столе. Забудешь.

– Это пакет для тебя, – сказала Марта. – Я положила в него наши старые письма... пятилетней давности.

Он уставил на нее вопросительный взгляд.

– Я хотела бы, чтобы ты полистал их, когда меня не будет. Прошу тебя, сделай это...

Петр кивнул и с некоторой неожиданностью для себя, посторонним, не своим умом подумал, что ее белые как мрамор колени, плотно сомкнутые под халатом, перед которыми еще недавно он не мог устоять ни минуты, не вызывают в нем того, что прежде...

* * *

Густав Калленборн остановил свой старенький пятилитровый «мерседес» на въезде в небольшой, уже заставленный машинами дворик, выбрался из-за руля, достал с заднего сиденья кожаный портфель и направился к парадному, скользя глазами по фасаду бельэтажа с ярко отсвечивающими окнами. Здание, в котором находился офис, выглядело солидным, но каким-то не до конца ухоженным, – он впервые это замечал. В Германии никто бы не оставил такой особнячок без капитального ремонта.

Ему открыла Анна, секретарша. Поскольку по субботам она не работала, Калленборн вопросительно ей улыбался. На Анне была синяя пара. Новая короткая стрижка ей то ли не шла, то ли придавала ее лицу чрезмерную выразительность или даже застенчивость, что шло вразрез с отработанным ею стилем шутиливой официальности, который Калленборн научился ценить с первой же минуты.

Возле секретарской конторки был включен радиоприемник. Звучал знакомый Калленборну струнный концерт, что-то родное, немецкое. Монотонность музыки, запах кофе и даже

будничный гул голосов, доносившийся из общего холла и сопровождавшийся дружными взрывами хохота, – это был знакомый и надежный мир. По утрам это всегда почему-то удивляло.

Калленборн был в хорошем настроении. Он был рад своим впечатлениям. Оживленный голос тараторившего в холле принадлежал Мартину Граву. Как не узнать этот гонорок? Именно Грав к его вступлению в дело относился с наибольшей осторожностью.

На входе в холл показался Вертягин:

– Вы уже здесь... На пороге-то почему стоите? Вас все ждут. Входите... Я вернусь.

Калленборн застыл в дверях. Заметив его, Мартин Грав сорвался с дивана и ринулся приветствовать гостя.

– Вы в самое время, Густав! – Грав развел руки, словно собирался заключить оробевшего гостя в объятия. – Вы представляете, четверо взрослых людей сидят и уже целый час выясняют, каким должно быть... Ну как это сказать?... Истинное лицо порядочного человека! В чем отличие порядочного человека от нас с вами, как вы думаете?

Пытаясь оценить шутку и не понимая, в чем подвох, немец осоловело улыбался.

– Адвокаты, сами понимаете, что за народ... – Грав сделал сокрушенную мину и продолжал нести околесицу: – Ну в чем, по-вашему, заключается это отличие? Не знаете... Эх вы! А Пьер вон утверждает, что мы существа всеядные. Иначе трубили бы мы в этой конторе! Он говорит, что нам должно быть на всё наплевать – плохое дело, хорошее, гражданское или уголовное. Лишь бы в нем можно было провести разграничение между правыми и виноватыми... Да-да, представьте себе! И попробуйте убедить его, что абсолютно правых на свете нет и никогда не было. Что такое первородный грех?... То-то и оно. – Грав отвесил Калленборну поклон и, судя по всему, был доволен впечатлением, которое производил на коллегу.

Двое других сотрудников тоже поднялись, чтобы поздороваться. Один из них, пятидесятилетний, солидной осанки толстяк с безразличными светлыми глазами – его звали Жорж Дюваль, – был не только самым старшим в конторе, но и в некотором роде ее старейшиной, потому что в компаньоны к Фон Ломову попал раньше всех. Он вызывал у Калленборна наибольшую симпатию. Вторым, Жан-Клод Бротте, был рослым молодежьим малым с живыми и как фасоль фиолетовыми глазами. Он один был в костюме и при галстуке.

Озадаченный приемом, но сохраняя на лице выражение любопытства, Калленборн прошел к дивану, водрузил портфель на колени, пошевелил густыми бровями и заговорил быстрой и правильной речью, что в немце немного удивляло:

– Один мой знакомый, преподаватель криминалистики, говорит, что если обществу дать волю, если ему дать полную свободу – оно станет преступным. А если полную свободу дать преступнику – он перестанет быть преступником. Почему этого не происходит?

Калленборн ждал ответа, улыбаясь. Будущие компаньоны, ухмыляясь, переглядывались.

– Да потому что у природы воли нет. Она безвольна, – ответил немец на свой же вопрос. – В ней всё держится на одной необходимости.

– Золотые слова... Золотые слова, Густав! – похвалил Грав. – Но только Пьеру мало одной необходимости. Ему необходимо, чтобы эта необходимость совпадала со свободой воли... тютелька в тютельку!

Калленборн тискал бока своего портфеля, обводил коллег вопросительным взглядом, будто засидевшийся гость, который не знает, как правильнее поступить, остаться еще на пару минут или встать и удалиться сразу.

Калленборн не переставал интриговать своей персоной. Его по-прежнему разглядывали. Он производил впечатление человека невозмутимого, знающего толк во всем на свете. Средних лет, темноволосый, с худощавым, но в подбородке тяжеловатым и некрасивым лицом, он был породист, но как-то по-своему. Однако подвижность его карих, асимметричных глаз, мерно плавающих в орбитах, растрепанные брови, высокие надлобные залысины с пульсиру-

ющими прожилками над висками, стоячая копна жестких, непокорных волос придавали его облику что-то одержимое, а иногда и жестокое.

– У Пьера новости... из министерства, – вдруг предупредил всех Грав, когда Вертягин, которого все дожидались, вернулся.

Компаньоны уставились на Грва с недоумением. Как можно предаваться праздной болтовне, когда есть такие новости?

– Бельгийский посол в Кении утверждает, что Фон Ломова видели рядом с кенийской границей. Еще в январе... На угандийской территории, – неприятно-официальным тоном добавил Мартин Грав.

Петр не произносил ни слова, чего-то выжидал.

– Это было четырнадцатого января. Двое их сотрудников бельгийского консульства ехали на машине из Кампалы в Найроби. На заправке они видели белый «ленд ровер» и двоих французов. Говорят, что даже разговаривали с ними... – продолжал Мартин Грав с таким видом, словно выполнял какую-то неприятную обязанность. – Самое печальное в этой истории – дата. Всё сходится. В Найроби Фон Ломов собирался вернуться как раз четырнадцатого. Уже с вечера был забронирован номер в гостинице... Да и узнают бельгийцы обоих по фотографиям, – добавил он.

– Могли напутать, – сказал Вертягин. – Тот, кого видели, в «ровере» был в черных очках и в шляпе.

– Нужно дождаться возвращения Гаспара, – сказал Грав, не отреагировав на замечание.

Мартин Грав имел в виду Гаспара К., бельгийского дядю Фон Ломова, которому удалось заставить брюссельскую компанию, пославшую племянника в Кению, расщедриться на проведение расследования на месте, и он уехал в Уганду неделю тому назад.

– Ждать больше нечего... Я давно это всем объясняю, – с твердостью сказал Вертягин. – Сколько времени улетело впустую? Вы хоть отдаете себе отчет, что за это время с человеком может произойти?.. А что касается Гаспара... Он уже в Брюсселе. Вчера вернулся.

– Гаспар? В Брюсселе? Почему ты молчишь? – возмутился Грав. – Ты уже говорил с ним, что ли?

– Белый «ровер» давно нашли. Нам просто голову морочили. Сгоревший, до пепла. Обнаружили машину в какой-то яме, возле Тороро... Есть такой город по дороге к границе. В машине нашли останки мужчины, – продолжал Петр почти с безразличием. – Личность полиция установила. Они уверены, что это их бывший подопечный. Арестант, за которым он поехал. «Ровер» взлетел на воздух от ручной гранаты. Фон Ломов... Его нет. Он исчез.

Петр стал мерить комнату шагами. С некоторых пор разговоры на эту тему вызывали в нем раздражение, и он с трудом его скрывал. Он считал, что компаньоны поторопились опустить руки. Как, впрочем, и министерство, как и все остальные.

– Ты прав. В этих странах... да там что угодно может произойти, – согласился Мартин Грав. – Могут зажарить человека на вертеле. Могут живьем сожрать... Он мог навлечь на себя... ну откуда я знаю?.. мечь самих контрабандистов.

– Мог, конечно.

– А что Гаспар говорит?

– Не всё так просто. Гаспар тоже уверен, что этот тип... этот покойник, прости господи... не такой уж мастер-одиночка, как нас уверяли, – сказал Вертягин. – Даже по сведениям французской полиции – не новичок. За решеткой сидел не раз. Чем он там в действительности занимался, слоновыми бивнями торговал или еще чем-то, никто сказать не может. Освободили малого не за красивые глаза. А оказывается – под залог. За магарыч... Без права выезда за пределы страны. Посредником был Фон Ломов. Гаспар опять пытался связаться с теми, кто послал его в Кампалу. Мертвый номер. Они мутят воду. Воду мутит кто-то в Заире. Гаспар уверен, что там не хотят расследования. И на очень высоком уровне... А мы всё ждали! У

моря погоды! Вот и результат! Я считаю, что даже теперь не поздно... – Петр осекся, не знал, как выразить свою мысль помягче. – Сидеть и ждать у моря погоды?.. А что, если у него нет возможности дать о себе знать?

Грав хотел тут же что-то возразить, но удержался.

– Что же тогда этот тип молот... в министерстве? Он же заверял нас, что там всё спокойно, – ворчливо поинтересовался Жорж Дюваль, имея в виду последнюю встречу с чиновником из министерства иностранных дел, курировавшим переговоры с местными властями, на которую они с Вертягиным поехали вместе.

– В министерстве могут говорить что угодно, – произнес Калленборн, и взгляды устремились на него. – Пока в Персидском заливе будет вариться эта каша, от министерства толку не будет. Им не до этого.

– Им и раньше было не до этого, – пожаловался Грав. – А этот дядюшка. Да Леопольд!.. Вот здесь он у меня сидит, со своими звонками и советами! Зачем он в Чад ездит, может мне кто-нибудь объяснить? Какой там, к черту, можно заниматься статистикой? Неужели, Пьер, ты не понимаешь, что это просто глупо забалтывать людей подобными бреднями?

– Я не говорю, что всё, что он рассказывает, правда, – ответил Вертягин.

– Чем он тогда занимается?

– Я не знаю. Ты почитай, что там творится... в этих странах! Да там чем угодно можно заниматься.

– Шпионажем?.. Ну вы даете! – Грав казался вдруг поражен собственным выводом.

Самые невероятные предположение были, наконец, сделаны вслух. Читая газеты, Петр и сам не раз задавался тем же вопросом, нет ли какой-то взаимосвязи между происходящим в Персидском заливе – недавняя оккупация Ираком Кувейта, в ответ готовящиеся военные действия – и Угандой, забытой миром крохотной страной, которая в обзорах, посвященных этому региону, практически никогда не упоминалась. В одной из статей он, правда, наткнулся на строки о том, что и Чад и Заир имеют отношение к нефтяной торговле, а следовательно, нефтяной кризис, эпицентром которого следовало считать Персидский залив, не мог обойти стороной и эти страны. Из чего вытекал другой вывод: дядюшка Леопольд, кем бы он ни был, служащим статистического учреждения или стопроцентным агентом 007, конечно, неслучайно разъезжал в настоящее время по Чаду и Заиру. Пятидесятилетний, атлетического сложения холостяк и полная с виду заурядность, он жил при среднем достатке, но каким-то образом умудрился разжиться апартаментами в Нёи и загородным гнездышком под Лорьяном, – такой человек мог быть кем угодно.

После всего только что сказанного и услышанного обсуждать обычную текучку казалось нелепым, хотя Калленборн приехал как-никак по делу.

Однако Мартин Грав взял на себя и эту обузу, заговорил о текущих делах. А по завершении этой темы в считанные минуты удалось урегулировать и все вопросы, касавшиеся Калленборна. К общему решению удалось прийти сразу и без малейших разногласий. Все облегченно переглядывались. Оставалось согласовать некоторые бумаги перед подписью. После того как были просмотрены отобранные Анной кандидатуры стажеров и выбраны три кандидатуры для прослушивания, Мартин Грав, не удержавшись, вернулся к тому, с чего начал.

Досье Фон Ломова пора было расценивать как окончательно запущенные. Пора были прийти к какому-нибудь решению и в отношении его личных долгов. Речь шла о двух кредитных обязательствах: покупка квартиры и машины. Такие вопросы в обычное время решались без специальной повестки дня. Долги можно было взять на кабинет или отказаться от них. На последнем варианте настаивали родственники Фон Ломова. Они считали, что трудности, если они и возникнут, будет правильнее им расхлебывать самим, без посторонней помощи и не дожидаясь завершения страховой волокиты, которую вообще лучше было не затевать, пока всё не прояснилось окончательно.

По ходу того, как Грав излагал свои доводы, немного перегружая факты многословием, Петр не отрывал глаз от пола, с чем-то заранее не соглашался. На лице Дюваля тоже время от времени каменела какая-то жилка. Он пытался скрыть зевоту, отчего глаза его немного выпучивались, придавая лицу нездоровый рассеянный вид.

Бротте привык пропускать дискуссии на общие темы мимо ушей и тем самым проявлял дальновидность. Перемалывать из пустого в порожнее – это может длиться часами. Куда важнее в таких случаях итоги, выводы, реальное руководство к действиям. Ничего конкретного никто опять не предлагал.

– Мы не можем разойтись без решения, – подытожил Петр дискуссию. – Гаспар не против... я уже говорил об этом... взять всё на себя. Но во-первых, я считаю это свинством. И даже не хочу говорить на эту тему. А во-вторых... Я уверен, что нет причин впадать в крайности. Зачем всех впутывать? Размер выплат по кредитам, да ведь смешно... – Не договорив, Петр отгородился от присутствующих пятернями.

– Я согласен с этой точкой зрения, – неожиданно произнес Калленборн, опять удивляя своей реакцией. – Пока не будет полной ясности, лучше взять долги на себя. Это ведь небольшие деньги.

Грав, сутулясь, вышагивал по комнате. Все молчали.

– Я всё подсчитал. На первое время нужно около десяти тысяч франков в месяц, – сказал Вертягин. – Если мы не договоримся об этом сейчас, я буду выплачивать эту сумму сам, из своего кармана. Вот что я решил. Так что решайте и вы.

– Да при чем тут твой карман?! О чем бы говоришь? – вспылил Грав; развернувшись к компаньонам, он ждал от них поддержки, но все молчали. – Опять все как воды в рот набрали? Жорж, ты-то почему молчишь? У тебя такой вид...

Едва пошевелив зрачками, Дюваль задумчиво уставился в пол, он не знал, куда деваться. Бротте отвесил кивок, ни да ни нет, из благовоспитанности не решаясь встать на чью-либо сторону. Но голос его как правило не имел никакого веса...

Однажды вечером, уже позднее, обсуждая в Гарне с Мартой всё ту же тему, когда он в который раз утопал в своих раздумьях, Марта, уже по привычке, принялась его урезонивать его же собственными доводами: Фон Ломов, мол, не тот человек, с которым может произойти такая история.

В этом была доля истины. Однако Петр никак не мог упростить эту мысль, очистить ее в себе от непонятого налета. Что именно так мешало смириться с простой констатацией? Для полноты картины недоставало какой-то небольшой, но очень важной детали.

– Не понимаю всей этой мешанины, прости, ради бога, – проговорил он и тут же поймал себя на другом сопоставлении: сказанное Мартой всколыхнуло в нем какой-то новый, еще не тронутый пласт.

– Рвать на себе волосы ни к чему. Вот что я хочу сказать. Не ждать нужно, а жить обычной, нормальной жизнью, как все нормальные люди. Думать о себе. О нас с тобой... Даже Калленборн так думает. Ты же сам сказал... И он прав. Ты убиваешь время впустую. Впустую висишь на шее у министерства. Они тебя баснями будут кормить до упора. Куда им деваться?

– Калленборн-то тут при чем? Ты его видела всего раз в жизни...

– Да, но уже могу тебе сказать, что у этого человека голова на плечах. Потом, ты же сам рассказывал. Про эти фокусы, про все эти штучки... – Марта сделала особое ударение на последнем слове.

По лицу Петра опять пробежала тень мрачноватой неуверенности в себе. Марта произносила вслух именно то, что не давало ему покоя своим брожением, но как бы не могло отстояться.

И он начинал перекапывать всё сначала. Для упрощения он вновь пытался подвести черту под своими личными отношениями с Фон Ломовым. И он тут же ловил себя на мысли (или просто внушал себе, что впервые задумывается над этим?), что с некоторых пор между ними выросла некая стена. Со стороны, пожалуй, незаметная. Но какой-то скрытый антагонизм давал о себе знать всё чаще и всегда в самый неожиданный момент. Явных причин для разногласий вроде бы не было. Мелких же, второстепенных накопилось такое множество, что непонятным казалось иногда, нужно ли вообще во всём этом копать. Не выяснять же отношения...

Человек холерического склада и увлекающийся, давно живший какими-то своими интересами и в довольно герметичном мирке, переполняемом сомнительными страстями, да и иллюзиями, Фон Ломов давно уже не был тем человеком, каким Петр знал его годы назад. Это первое. Всё, что осталось от прежнего, – неприкаянность. Она и вызвала определенную симпатию. Среди большинства своих знакомых Фон Ломов слыл большим оригиналом. И имел на это право. Чего стоили одни его увлечения собирательством! Но тут Петр и слов подходящих не находил. Впрочем, любой, кому довелось наблюдать за эволюцией этого давнего и экстравагантного хобби Фон Ломова, рано или поздно не мог не почувствовать себя последним приспособленцем, закостеневшем в своем ничтожном конформизме.

Благодаря одному из давних друзей по интернату в Мезон-Лафите, который стал художником, Фон Ломов водился с парижской богемой. Из сострадания к жизненным тяготам своих друзей-авангардистов, а может быть, стараясь искупить в глазах друга со товарищи полное отсутствие в себе художественных дарований, Фон Ломов еще студентом стал коллекционировать их работы. Чаще всего это была немыслимая рухлядь, непонятная ни по форме, ни по содержанию, – разрисованная флуоресцентными красками фанера, неоновой подсветкой разукрашенные останки стиральных машин, двухметрового размера портреты, которые писались друг с друга, и не кистью, а шваброй. В те годы приобретения не требовали больших вложений. Больше чем тысячу франков, Фон Ломов никогда не тратил на одну покупку. Однако и такие суммы у него не всегда водились. А поэтому он увязал в долгах, как умел, выкручивался и одно время даже подрабатывал по ночам шофером – крутил баранку лимузина, который обслуживал один из грандотелей на авеню Монтень.

Из дружеской солидарности, а может быть, опять же, просто не устояв перед уговорами, Петр дважды отважился составить Фон Ломову компанию. Дважды ему довелось побывать на полуночных сборищах, проходивших под железобетонными сводами заброшенных фабрик. Мода на «лофты» пока только зарождалась. Дружными усилиями взъерошенный сброд столичных маргиналов, взволнованных самим фактом единения в одну сплошную толпу, делил выставленные экспонаты на мелкие фрагменты и тут же, во время «инаугурации» – она же являлась и закрытием – съедал их. В буквальном смысле слова. Изображая из себя пещерное племя, отвергнутое миром, а то и самим Создателем. Благо всё это оказывалось съедобным. Благо у мастера на все руки, сотворившего хитроумные экспонаты, хватило ума изготовить свое детище из сахара, выпаривая и вываривая «белую смерть» до нужной консистенции в какой-то безразмерной фабричной посудине...

Идеи, голые и какие-то растопыренные, несмотря на всю их безграничность и одержимость, поражали своим отрывом от реальности, в которой им надлежало воплощаться. Поражало то, насколько далеким всё это было от реальных нужд простых смертных. И видимо, неслучайно общество стало плодить эти идеи как грибы. Таким нехитрым образом оно прибрало к рукам самых неприспособленных. Определенный смысл в этом, конечно, был. Пар удавалось выпустить из котла. Иначе котел разнесло бы просто в пух и прах. Уже поэтому

современное искусство, в массе своей, Петру казалось какой-то новой коллективной терапией, в которой у общества возникла потребность на определенном этапе своего развития. Беда в том, что тут же возникло много желающих на этой потребности нажиться, и, как всегда, среди самых дошлых, приспособленных. В творческой среде шарлатаны росли как грибы.

Новый, неожиданный поворот увлечения Фон Ломова стали принимать после одной из его летних поездок в Брюссель, когда он попал на очередную «экспозицию», устроенную под открытым небом на пляже возле Остенде. Заумные конфигурации из песка должны были исчезнуть с приливом по мере прихода воды.

Адепты нового жанра приняли его в свой клуб на ура уже в Париже. Но их-то можно было понять. Спустя пару месяцев Петр стал свидетелем того, как Фон Ломов, последовав заразителю примеру, приобрел у кого-то из них же глыбу из прозрачного льда. Покупка, сделанная через галерею на рю де Сен, влетела ему в несколько тысяч франков. «Шедевр» кубической формы должен был растаять в течение шести-семи часов. Так и не уломав никого из знакомых прийти к нему в гости на сеанс ночной экзальтации, на следующий день, непроставшийся, Фон Ломов уверял, что до сего дня не испытывал ничего сопоставимого с тем «откровением», которое предстало его глазам минувшей ночью.

Смысл «всего» никогда якобы не представал перед ним в такой «нагоде». А заключался этот смысл будто бы в принципе постепенного растворения «всего во всем». «Эфемерное» – это якобы прекрасная иллюстрация «энтропии» и «векторной природы» времени. Явления, вполне свободно и всерьез обсуждаемые светилами современной астрономии. Любой человек может наблюдать всё это вокруг себя невооруженным взглядом. Но простой смертный не придает значения этим вещам, потому что сросся с ними, их попросту не видит. И вообще, «принцип эфемерности» – древнейшая метафора. Что-либо равное по своей пронизательности редко будто бы осеняло человека в его стремлении выразить свое отношение к окружающей действительности, ко времени, к себе самому...

Как к этому относиться? Друг не устоял перед веяниями времени, не понимал, что это обычный, хотя и непроглядный дым виртуальной бессмыслицы, который современный западный мир, стремясь превратить в товар всё и подрядив к делу искусство, научился использовать, фасовать, пустил в массовое производство? Почему эти аналогии приходили в голову именно теперь? Какое отношение это имело к случившемуся?

А очень простое: Фон Ломов исчез, растаял будто кусок льда. В этом проглядывало что-то рациональное... Как раз по этому поводу масла в огонь подливал и дядюшка Леопольд. Доверие к себе он окончательно исчерпал. Звонками он донимал всё реже. Но время от времени Леопольд всё же подбрасывал на размышление кабинетной братии новые идеи. Аргументация его сводилась к странному оптимизму: мол, не горюйте, ребята, скоро всё утрясется. Племянник, мол, скоро объявится. Что удивительно, это всех немного устраивало.

– Нет никаких оснований утверждать обратное, – мутновато увещевал дядюшка.

– Что делать конкретно? – вновь обращали к нему вопрос.

– Ждать. Ничего другого не остается, – в который раз твердил тот.

Вернувшийся из Кампалы Гаспар К. такого оптимизма дальнего сродника не разделял. На его взгляд, племянник мог оказаться жертвой враждующих группировок контрабандистов. Такова была его версия. Даже скудные сведения, которые ему удалось подсобрать в Кампале, свидетельствовали о том, что размах деятельности находившегося под арестом контрабандиста, как и сама его «специализация», выходили далеко за рамки интересов заирских и угандийских заказчиков. Концы тянулись в Европу. Неслучайно в Заире мешали расследованию, причем кто-то явно пользующийся влиянием. А если принять за факт не столь давние и общеизвестные разоблачения правящего в Заире клана, обвинения в заурядной контрабанде, то разумнее было готовиться к трудностям.

Гаспар К. уверял, что бессмысленно рассчитывать на помощь французских властей, пытаться заставить их вести поиски в этом направлении – через влиятельных лиц в Заире. Ведь они уже не раз подмочили себе репутацию своим «невмешательством» в заирские дела, иногда довольно темные...

Петру казалось и странным и маловероятным, что человек может исчезнуть с лица земли бесследно. Но еще более странным было констатировать, с какой легкостью и сам он внутренне свыкается со своим бессилием что-либо изменить...

* * *

В июне Петру пришлось взяться за новое неурочное досье, доставшееся ему от Мартина Грава, которому пришлось срочно улететь на юг к жене, ожидавшей у родителей в Антибе исхода беременности. Как выяснилось уже утром, поздно вечером она попала в стационар с внезапным осложнением, и о своем срочном отъезде Грав известил уже из Антиба. Перенести дату заседания не удавалось, и кто-то должен был поехать в суд вместо него...

Как раз в те же дни всему кабинету подвалило работы. Крупное коммерческое дело, поступившее два года назад через Калленборна по иску, возбужденному в Германии, было доведено до завершения, и начинались слушания. Одно из судебных заседаний по страховым тяжбам проходило в Нантском суде; кому-то предстояло поехать в Нант и провести там два дня. Просить о переносе промежуточного заседания по судебному банкротству, которое должно было проходить в коммерческом суде Парижа, в четверг, – эта мера вступала в противоречие с интересами обвиняемого, которого защищал кабинет. С начала недели приходилось нагонять упущенное еще и по давнему, всем давно опостылевшему делу по дележу имущества, производимого в рамках бракоразводной процедуры, затеянной одним из родственников директора банка «Париба», владевшего большим пакетом его акций. Кроме как Петру перепоручить папки Грава оказалось некому...

Суть тяжбы, над которой работал Грав, заключалась в следующем. Пожилая вдова, мадам N, подала в суд на родственников своего скончавшегося сожителя. Сожителем мадам N был разорившийся винный негодник из Бордо, с которым вдова N провела последние годы жизни. На этом основании она и оспаривала наследственные права родственников покойного, считая себя вправе претендовать на долю наследства наравне со всеми, но получалось, что добивается этого вопреки завещанию, оставленному покойным, и якобы вопреки закону.

Мартин Грав защищал родственников – сыновей покойного. К сыновьям примкнул родной брат негодника и двое двоюродных. Возмущенные имущественными притязаниями старухи, все они единодушно обвиняли ее в подлоге, считали самозванкой и отстаивали не только свои имущественные интересы, но и, в определенном смысле, доброе имя покойного.

Дело по защите обездоленной претендентки на наследство вела некая Шарлотта Вельмонт, немолодая, не робкого десятка парижская «правозащитница», как отзывался о ней Мартин Грав, имевшая репутацию «адвоката на все руки», поскольку бралась за всё подряд, за любую халтуру.

Система защиты Шарлотты Вельмонт озадачивала своей непродуманностью: она решила отстаивать подлинность завещания, которое существовало только в ксерокопии. Тем самым она оказывала истцу медвежью услугу. Но еще большее удивление вызывало упорство, с которым она стояла на своем.

Грав не рассчитывал на трудности, но всё же предпочел навести дополнительные справки. В адвокатуре знали отца Вельмонт, в свое время он слыл известным адвокатом, сошел со сцены лет пятнадцать тому назад, подобно тому как уходят однажды за кулисы знаменитые актеры – раз и навсегда. Карьера Вельмонт благодаря отцу складывалась удачно, но лишь до той поры,

пока не произошел крах в ее личной жизни. По сведениям Грива, не далее как десять лет назад Вельмонт еще защищала в судах большие нашумевшие дела. Одно из них она провалила со скандалом. Вельмонт защищала собрата по профессии, адвоката, судимого за убийство жены, и проявила будто бы халатность. Именно после этого провала Вельмонт отошла в тень, по слухам, лечилась от алкоголизма и только три года назад вновь вернулась к работе в судах, но ничем другим, кроме рутинного гражданского права, уже не занималась...

С утра перед заседанием перелистывая папку, Петр вдруг спросил себя, не знаком ли он с Вельмонт лично. Ту же фамилию, Вельмонт, носил давний друг отца по Парижу – отставной судья, приезжавший зимой на похороны. Жена? Родственница? Если они не просто однофамильцы, то как было объяснить тот факт, что в сведениях Грива имя старика Вельмонта не фигурировало?

В то же утро Петр навел новые справки. Предположения оправдались. Шарлотта Вельмонт была бывшей женой судьи Вельмонта. Они развелись около десяти лет назад. Это совпадение вызывало какую-то досаду...

Уже через четверть часа после начала слушания стало понятно, что Вельмонт упускает в своей аргументации последние шансы, которые у нее еще оставались, – то ли по неосмотрительности, не то из безразличия к интересам своей подопечной. Вместо того чтобы подвергнуть сомнению факты, хотя даже их достоверность можно было оспаривать, Вельмонт предпочла оспаривать в корне всё, как и прежде. В то время как могла добиться, по крайней мере, дополнительных экспертиз и помешать вынесению немедленного решения. Казалось очевидным, что рассмотрение всего спора, если уж хотелось оспаривать всё подчистую, еще не поздно было попытаться повернуть в другое русло. Ведь сожителство ее клиентки с покойным наделяло ту вполне законными наследственными правами, достаточно было привести доказательства, и это явно не потребовало бы больших усилий, потому что соответствовало действительности, вопреки умалению этих фактов сыновьями, – председатель суда не смог бы их игнорировать. Но и этого тоже не было сделано. Председатель же суда, решив прервать дебаты, построенные на одних общих фразах, просто делал свою работу...

Поруганная вдова вдруг разразилась бранью. Вытрясая на пол содержимое своей сумки, старуха стала угрожать чуть ли не преисподней, куда она собиралась обратиться в том случае, если ей не удастся найти управы на «творящееся» в чертогах самих судебных инстанций. Возгласы мадам N из-за хорошей акустики звучали настолько резко, что по лицам присутствующих проносилась тень неловкости. Председатель – и ему следовало отдать должное – предпочел не акцентировать на инциденте внимания. Да и Вельмонт наконец догадалась вывести свою подопечную из зала...

После объявления решения, выйдя из зала одним из последних, Петр увидел Вельмонт и ее подопечную на скамье в коридоре в окружении каких-то компаньонов, которые еще минуту назад, находясь в зале, дружно сжигали его своими разгневанными взглядами. Общими усилиями они обхаживали в коридоре перенервничавшую вдову, совали ей какие-то таблетки, минеральную воду, уговаривали ехать домой не на метро, а на такси.

Петр замедлил шаг и, не зная, что сказать, обронил банальность:

– Мне искренне жаль.

Уставив в него недоуменный взгляд, Вельмонт на миг растерялась.

– Жаль чего?! – с усилием выговорила она. – Вы кто – педант? Или родились таким наивным?

Он опять почему-то медлил. И Вельмонт вдруг взорвалась. Она при всех стала обвинять его и всю кабинетную братию в нечистоплотности, в сокрытии всё тех же злосчастных «оригиналов», с которых были сняты ксерокопии, подтверждавшие ее версию, и чуть ли не в похищении подлинного, второго завещания. Вельмонт обещала добиться нового расследования и затем с вещественными доказательствами в руках подать жалобу – уже на всех без разбора.

– Это я вам обещаю... Вот тогда вам будет о чем жалеть, а пока...

Вечером, уже дома, он вновь принялся перелистывать папку с делом, которую прихватил с собой в Гарн. Ему не давал покоя какой-то неприятный осадок, который оставался у него весь день. Хотелось что-то сверить еще раз.

Если речь действительно идет о подлоге, на чем Вельмонт настаивала, если «второе» завещание, якобы подлинное и составленное позднее, сыновья действительно уничтожили, чтобы не пришлось делить со старухой имущество отца, в этом случае дело действительно можно было оспаривать, причем в корне. В этом не могло быть сомнений. Именно по этому пути и пошла Шарлотта Вельмонт. Слабая сторона ее позиции заключалась в отсутствии доказательств. Одни улики. Само обращение в суд в такой ситуации выглядело бессмысленным. Но как только Петр давал своим мыслям полную свободу, он не мог не констатировать, что даже на основании бумаг, собранных в его папке, напрашивался следующий вывод: с полной уверенностью невозможно было отстаивать ни одну точку зрения, ни другую. Тогда где истина? Должна ли она быть вообще?

Больше того, к досье было подшито ходатайство одного из сыновей к нотариусу, в котором тот отказывался признать «второе» завещание на основании того, что оно вступает в противоречие с существующими законодательными нормами о разделе имущества. Тем самым косвенно, да еще и письменно подтверждался факт существования этого «второго» завещания, оригинал которого впоследствии исчез. Покойный сам будто бы его уничтожил, чтобы дать силу завещанию, составленному ранее и заверенному у нотариуса, – тому документу, в которое теперь всё и упиралось. Но ведь Вельмонт имела копию этого ходатайства. Казалось непонятным, почему она ею не воспользовалась.

Тактика защиты, выбранная наследниками, была с их точки зрения беспроигрышной: лишить старуху наследства любой ценой, другого варианта они попросту не допускали и в этом смысле шли напролом. Поскольку же Грва связывали с этой семьей давние отношения, нетрудно было предположить, что даже, если бы он разобрался во всём досконально, он не стал бы более осторожен в выводах, продолжал бы семейству подыгрывать. Впрочем, так ли это? Действительно ли Грав не понимал, что делал?

Этот вывод казался самым неприятным. Речь могла идти о подлоге. Родственники вполне могли прибегнуть к обману, чего проще. Притязания мадам N вполне можно было отстаивать. Стоило приложить необходимые усилия, и нужное доказательство не могло не всплыть на поверхность. Но в таком случае получалось, что он отстоял права крохоборов.

Грва не было в Версале до понедельника. Телефон в Антибе не отвечал. Получалось, что позвонить ему просто некуда. Тормозить же компаньонов на ночь глядя Петр тоже не стал.

Утром в понедельник, приехав в Версаль к открытию конторы, Петр узнал, что у Грва родился ребенок и что он уже вернулся, с утра успел побывать в кабинете, но уже уехал по каким-то делам, обещая быть только к обеду...

Около часа дня, когда из коридора послышался оживленный смех Мартина Грва, Петр взял коробку с делом и открыл дверь:

– Позволь тебя поздравить... Мальчик или девочка?

– Сын! – сиял Грав, но при этом отрицательно качал головой. – Четыре кило пятьсот. Да, а пока этого собственными глазами не увидишь...

– Как назвали?

– Марком.

– Марком. – Петр одобритительно кивнул. – Я вот что хотел... Тут есть пара вопросов... –

И он подбросил в руках знакомую Граву файловую коробку. – Есть у тебя минута?

– Анна сказала, что всё в порядке? Спасибо, – поблагодарил Грав.

– Я как раз об этом... Зайдешь ко мне?

Они вошли в кабинет Петра, и он закрыл дверь.

– Подлинное завещание, сделанное раньше, оказывается, было, – сказал Петр. – Сколько ни просматривал бумаги, уверен, что всё это липа.

– Не понимаю... о чем ты? – В некотором замешательстве Грав опустился перед ним на стул.

– Если сопоставить даты и показания, то много ума не нужно, чтобы прийти к такому выводу.

– Теперь-то зачем об этом говорить, когда всё закончилось?

– Это завещание... было оно или нет?

– Второе? Не могу сказать. Возможно. Я не криминалист, не сыщик. Мы работаем с бумагами.

– Не понимаю... Ты хочешь сказать, что ты знал, чем здесь пахнет? – удивился Петр.

– К чему эти дурацкие вопросы?... Да, можно было бы предположить, что завещание уничтожено. Сам он его уничтожил или все вместе – вопрос спорный. Что делать? Завещания нет... Нет, и всё. А как с делом работать?

– А если всё же всплывет?

– Каким образом?

– Если я правильно понимаю, ты всё знал.., – помолчав, заключил Петр. – Ну ты даешь! Старухе за приют платить нечем. Вы ее по миру пустили. Или ты не в курсе?

– Я делаю свою работу, не могу же я вникать в жизнь каждого до такой степени... Любой на моем месте сделал бы то же самое. А вот как человеку быть дальше – это уже другой вопрос.

– Не уверен, что всё так просто... Кем тебе приходится эти люди, сыновья?

– Да никем. Отец знаком с их отцом.

– Ради него ты и старался?

– Какой-то разговор... Какая мне разница, кто прав, кто виноват, ей-богу... – Грав вскинул на Вертягина сомнительный взгляд, всё еще не понимая, что стоит за его настойчивостью. – Ну хорошо... Я должен был внимательнее отнестись, согласен... Но кому это могло прийти в голову? До меня под конец стало доходить кое-что, когда Вельмонт появилась... Но я уже не мог ничего изменить. Формально всё сделано правильно. Ни тебя, ни меня никто не может ни в чем упрекать.

– Меня ты впутал непонятно во что. А за дележом стоит чуть ли не уголовщина... Или ты не понимаешь?

Грав обмяк и с мрачным видом что-то обдумывал.

– Что от меня ты хочешь? – спросил он.

– Исправляй, раз наворотил, – спокойно ответил Петр.

– Пьер, я понимаю, что всё это глупо... И бесконечно уважаю, поверь мне, твое, так сказать... рьяное отношение к этим вещам. Но... абсурд, ей-богу!

День спустя, когда в кабинете стало известно о случившемся, – в неприглядном положении оказался не только Грав, нарушивший правило, согласно которому никто из компаньонов не должен был без общего согласия с другими братья за дело, которое могло бы нанести ущерб репутации всего кабинета, – никто не знал, как выходить из положения. Вертягин не видел другого выхода, как вступить с Вельмонт в переговоры, заставить родственников урегулировать ситуацию мирным путем, без дальнейших разбирательств – заставить их выплатить компенсацию теперь уже «потерпевшей», в обмен на отказ ворошить всю историю...

К концу недели, убедившись, что ни Гравом, ни другими компаньонами не будет предпринято никаких шагов, Петр решился на самостоятельный шаг. Было уже поздно, около один-

надцати, когда он отважился наконец сделать то, о чем думал все эти дни. Он набрал домашний номер Шарлотты Вельмонт.

Трубку сняли сразу. Ответила сама Вельмонт. Петр назвал ее, извинился за поздний звонок и принялся объяснять причину своего звонка.

Вельмонт не сразу смогла понять, о чем идет речь. И Петр уже было жалел о своем жесте. Но тут, собравшись с духом, он выложил всё как есть. Его компаньон, который вел дело наследников, соглашался пойти на компромисс, устраивающий ее клиентку – с выплатами, с компенсацией, которых Вельмонт добивалась, но при условии, что дело будет завершено без обжалования.

В трубке повисло молчание.

– Я знала вашего отца... и уважала его, – произнесла Вельмонт. – Но вас я не понимаю. Люди вроде вас для меня всё равно что инопланетяне. Что вы о себе возомнили? Что на вас даже приличия не распространяются? Что вы можете звонить кому угодно и когда угодно? Чтобы удружить личным советом?

– Мне всё равно, что вы обо мне думаете..., – помедлив, сказал Петр. – Завещание липовое. Вы были правы. Я этого не знал. И теперь хочу найти выход из положения... ну если хотите, с наименьшими потерями для всех... Проверьте даты. У вас есть все необходимые бумаги, – добавил Петр.

– Какие даты?

– Даты по всему делу, особенно за сентябрь, когда было составлено второе завещание. И сравните их с другими. По-моему, всё просто...

Вельмонт долго молчала.

– Ну хорошо, предположим, что с датами ваши наследники нахимичили, – заговорила Вельмонт осевшим голосом. – Предположим, что там, в Версале, у кого-то проснулась совесть. Бывает. Но ваш подход меня обескураживает... Могу вам задать один вопрос?

– Да, пожалуйста.

– Вы давно в судах работаете?

– Недавно... Но есть ли смысл обсуждать наши биографии? – ответил Петр с более подчеркнутым безразличием, чем сам того хотел. – Подумайте. Если захотите связаться со мной, позвоните... Я оставлю вам свой домашний телефон.

– На вашем месте я бы этого не делала, – сказала Вельмонт, записав подиктованный номер. – Насколько я понимаю, в благодарности вы не нуждаетесь?

– Спокойной ночи, – сказал он и положил трубку.

* * *

К середине июля погода наконец устоялась. Дни держались свежие, немного ветреные. Время было самое подходящее, чтобы закончить начатые в саду работы. Но садовник оказался в отъезде. Отправившись в Монпелье на похороны родственника, старик Далл'О пообещал вернуться к началу следующей недели, но в пятницу вечером позвонил и сообщил о том, что слег с воспалением легких. Далл'О просил не рассчитывать на него раньше чем через десять дней.

Работы в саду накопилось такое количество, что Петр не знал, с чего начинать. Вставая около шести утра, он без завтрака носился по участку, хватался то за одно, то за другое. Однако без пожилого помощника, роль которого он до сих пор недооценивал, он чувствовал себя как без рук.

Соседи предлагали прислать на день-два чету своих португальцев. У Сильвестров им перепала обыденная садовая работа: стрижка газонов и кустов, просто уборка. Сами Сильве-

стры ленились ею заниматься. Пара подрабатывала по всему поселку, кочуя с одного участка на другой, и о ней неплохо отзывались. Но от предложения соседей пришлось всё же отказаться. Как доверить розарий незнакомым людям? Пришлось бы их учить тому, другому, третьему, хотя бы азам цветоводства. На это времени как раз не было...

В розарии, на аллеях вдоль центрального газона и по бордюрам отходило первое цветение, в этом году запоздалое и не такое обильное, как в прошлое лето. Белесая, лишенная колючек провансальская роза, еще недавно распускавшаяся пахучими розово-лиловыми соцветиями, полностью осыпалась. Гравий на дорожках был устлан свежими хлопьями. В непрерывном зрелище увядания, которому не сопутствовало, как это принято во всём наземном мире, тление, проглядывало что-то райское, ненасытное для глаз. Кусты чайной розы, усыпанные желтоватыми цветами, тоже требовали стрижки. Muskusные же кусты, «Пенелопка», как эту низкорослую особь окрестил Далл'О, выглядели невзрачными. Обычно стойкие ко всему на свете, налитые бутоны цвета слоновой кости в этом году имели вид чахлый, пожухлый, раскрывались кое-как, и уже с июня усыпанные цветами кисти запревали от сырости. Петр списывал всё на дожди. Но затем обнаружил в бутоне тлю. Ужасаясь своему открытию, он ринулся осматривать кусты по всему участку и был вынужден констатировать, что «Пенелопка» – далеко не единственный случай. Та же участь поджидала ползучую «Шизофрагму» и «Сальвию» возле ограды.

Необходимо было немедленно сгрести настил сена, который старик навалил во время дождей по всему саду, и, пока еще стояли сухие дни, пройтись по кустам хотя бы табачной пылью. Ни дня больше нельзя было откладывать и с удобрениями. Пора было взяться, наконец, и за подпорки вокруг далей. Высокие кусты этих хрупких, капризных цветов оказались брошенными на произвол судьбы. В новых подпорках нуждался весь розарий. Посаженная два года назад шафрановая роза вдруг неожиданно разрослась вверх. Заросли сочной, кожистой листвы пестрели россыпями бледно-розовых, раскрытых соцветий, и длинные отростки уже вторую неделю болтались на ветру неподвязанными. Срочных мер требовала и английская «Офелия» с бело-розовыми, абрикосового оттенка пахучими бутонками. Зацветшая лишь под конец июня, «Офелия» полезла вдруг вверх с неистовством. Подрезая ее в последний раз, старик Далл'О, судя по всему, переборщил. О бенгальской розе с розово-красными цветами и особенно о «черной» розе – эту очень пахучую розу вишневого, почти венисового цвета общими усилиями удалось вывести гибридным способом из знаменитой «Гвинеи» – Петр не мог не думать без содрогания, после того как заметил, что обе розы покрылись ржавчиной. Резать бутоны? Это было выше его сил. И он откладывал крайнюю меру со дня на день. Спешить всё равно было некуда, чему бывать – того не миновать.

С газонами тоже пора было предпринимать что-то всерьез. Уваленные и утрамбованные, будто из синтетики, какими питейные заведения украшают мостовую перед своими порогами, газоны скисали от сырости. А в самом центре сада, возле клумб, зияла настоящая плешина. Заправляя газонокосилку, Далл'О наплескал бензина, и восстановить газон было, конечно, уже невозможно. Единственным спасением от полного облысения было перекопать эту часть газона и засеять заново. И наконец, на главное из намеченного, на черенкование и прививки, запланированные на июнь и затем перенесенные на июль, времени вообще не оставалось.

Вняв уговорам Сильвестров, Петр всё же нанял чету португальцев. На первые дни, чтобы присмотреться к паре, он попросил обоих заняться газонами. И только к среде, убедившись, что все его инструкции выполняются, он доверил паре стрижку кустов. Правда, настоял на условии, которое чету не очень поначалу устраивало, что приходиться они будут с утра, пока он дома...

Следя с террасы за ходом работы, Петр не успевал допить и одной чашки кофе, как отставлял ее на выступе окна и спешил в сад с объяснениями. Подрезку правильнее было начинать с другой стороны, чтобы не «обкорнать» куст до неузнаваемости, что было почти неизбежно, если резать подчистую. Опять и опять он опаздывал в Версаль. В кабинет он приезжал

всё чаще к одиннадцати. Быстрее просто не получалось из-за пробок. А затем весь день продолжал изнывать от своих сомнений: способны ли там, в Гарне, понять, что он настаивает на мелочах не просто так, и сделают ли всё так, как он просил?

Возвращаясь к себе после работы, Петр наспех переодевался и остаток вечера проводил на улице, до полного наступления темноты рылся в пахучей, парной синеве. И он уже не мог представить себе Гарна без возни в саду, без ноющей усталости в чреслах, пересиливая которую, а вместе с ней и муки блаженства, уже в крошечной темноте он плелся складывать инструменты, затем включал в пустом, еще холодном доме свет и, едва шевеля суставами, едва разгибая одеревеневшую поясницу, переодевался, иногда уже не находя в себе сил пойти в душ или приготовить мало-мальски нормальный горячий ужин.

* * *

Накануне возвращения Марты ему приснилось, что он ест стекло. Пережевывая мелкое отвратительное крошево, которым он не переставал набивать себе рот, он не испытывал при этом ни боли, ни даже удивления от того, что с ним происходит. Даже если мороз и продирает по спине от нестерпимого хруста на зубах.

Происходило же всё на каких-то озерах. Он сидел один в деревянной лодке, свесив ноги в воду. Темная зеркальная гладь воды тяжело покачивалась. И когда он шевелил в ней ногами, пытаясь размыть свое отражение, вода становилась вязкой и клейкой, как смола... Затем он обнаруживал, что сидит уже не в лодке и не в середине большого водоема, а в городе, перед подобием уличного парапета, с балясинами, напоминавшими адвокатскую перегородку, какие бывают в судах присяжных, в старых судебных корпусах. Но с парапета виден был не судебный зал, а тот самый пейзаж с расселинами и холмами, уже знакомый, уходящий за горизонт, который накануне отъезда на похороны отца приснился ему в Гарне. Разница была в том, что теперь ландшафт выглядел черным, выгоревшим.

Казалось непонятным, как можно сопоставить во сне два разных сновиденья, увиденных в разное время. С той же отчетливостью, не просыпаясь, он сознавал, что удивителен сам факт того, что он думает во сне и понимает это. Поразительно было и то, что, сидя на парапете, он был одет не в тогу адвоката, а в тунику священника. И уж ни в какие ворота не лез вид увесистого костяного талисмана, который болтался у него на груди и оттягивал своей тяжестью шею. Однако ни снять с себя эту болванку, ни спрятать ее за пазуху не удавалось...

Прошло всего десять минут после посадки рейса, как с первой же волной пассажиров Марта выплыла в холл ожидания. С ног до головы в новом, светлом, с незнакомой, томной улыбкой на смуглом от загара лице, немного похудевшая и какая-то будничная, Марта несла в руках множество пакетов. Ее серый «самсонайт» на роликах катил почему-то рослый незнакомец в костюме, вышагивающий следом.

– Ты приехал... Боже, как здорово! Как хорошо быть дома! – Марта сгрузила Петру под ноги кожаную кабинную сумку и пакеты, смерила его внимательным взглядом и пожаловалась: – Как всегда, бардак! Ни тележки. Ни живой души...

Не совсем понимая, что она имеет в виду – самолет, Австрию или зал выдачи багажа, – Петр поднял с пола сумку, она мешала выходящим, и немо улыбался.

– Пьер, познакомься... – Марта показала на крупнотелого незнакомца с ее чемоданом, и лицо ее покрылось необычным румянцем. – Мы вместе летели.

Малый поставил рядом Мартин чемодан и, выставив скулы, стал на глазах заливаться краской, по самые корни волос; он явно не ожидал никаких знакомств.

– Что ж, приятно было..., – пробормотал незнакомец по-французски с заметным канадским акцентом. – Всего вам. Рад был, так сказать...

Кивком поблагодарив, Петр наблюдал за тем, как канадец стал удаляться к лифтам, на ходу слегка приседая и удивленно оглядываясь.

– Экий джентльмен, – заметил он.

– Прилип... Из-за чемодана. Тележек – хоть шаром покати...

Они обнялись, подставили друг другу губы. Продолжая изучать его знакомым собственническим взглядом, Марта смахнула с лацкана его пиджака соринку, поправила на нем перекосившийся галстук и разочарованно произнесла:

– Какой у тебя вид... Ты что, с работы сюда приехал? В судах ночуешь? Ведь ты мне обещал...

Он, улыбаясь, кивал.

– Нет уж, теперь я заставлю тебя заниматься здоровьем, пеняй на себя! Что ты решил? Мы едем куда-то?

– Через два дня, – сказал он. – Вытерпишь, надеюсь?..

Пару минут спустя вырулив со стоянки на ровную, петляющую трассу, которая выводила к автостраде, при естественном дневном свете Петр заметил, что Марта стала более русой. Ее гладко прибранные волосы выгорели и приобрели золотистый оттенок, что это очень шло к ее мягкому загару.

– Какое всё-таки блаженство возвращаться сюда... Ты не можешь этого понять! Думать больно! Кстати, тебе большущий привет от всех, от папы, мамы, сестры...

– Очень хорошо... – сказал он невпопад и, спохватившись, переспросил: – От кого?

– Ты ужас какой рассеянный.

– И как они?

– Стали домоседами. Всё по-старому. Замучили меня расспросами... о тебе, обо всем. Папа обещает зимой нагреть в гости... Ты согласен?

Петр кивнул, но поймал себя на мысли, что в глубине души чувствует полное безразличие к идее приезда родителей Марты в Гарн, и удивился этому.

Пробок на дороге не было. И уже вскоре они пересекали знакомые окрестности. Вдоль обочин пустынного, извилистого шоссе семенили клены и акации. Будто соревнуясь с ними наперегонки, молоденькие березки дружно разбежались в стороны. Миновав спуск, уводивший за собой вдоль нескончаемой полуразвалившейся стены, которая отгораживала от глаз чью-то запущенную усадьбу с необъятным участком, пришлось пересечь очередное скопление улиц, а затем разрозненный, хаотично меняющийся ландшафт стал упорядоченным, более ухоженным и уже совсем знакомым.

Вдоль дороги теперь выстраивались в ряды рослые тополя, макушки которых раздувались на ветру словно павлиньи перья. Округа тонула в зелени. Вдалеке, в успевшей настояться за день дымке, по обеим сторонам долины волнами перекачивались темно-зеленые склоны лесных массивов. Кромка леса уже начинала таять в предвечерней синеве. Густой и терпкий аромат полей и зелени по мере приближения к Гарну стал настолько острым и настолько сильно чувствовался на ветру, что с трудом удавалось дышать в полную грудь.

Петр сбавил скорость и приспустил боковые стекла.

– Какая красотища... Убийственно... Просто убийственно! – восторгалась Марта, едва не по пояс высунувшись в окно, раскрывая объятия голых рук навстречу воздушному потоку и жмурясь от ветра. – Всё это понимаешь только потом, когда возвращаешься. Тебе обязательно... слышишь, обязательно нужно вырваться куда-нибудь. Ну хоть изредка... Хоть куда-нибудь... Что такое счастье? Вот и гадай. Поверь мне, счастье – это что-то простое. Им в принципе может быть всё, что угодно...

Марта привезла ему шляпу с пером, не новый, но добротный и дорогой кожаный портфель с вытисненным над серебряной пряжкой гербом, который «позаимствовала» у своего отца, немного фольклорный суконный пиджак елового цвета, который оказался столь теплым,

что даже на улице, просидев за садовым столиком несколько минут, Петр почувствовал, как от него начинает отделяться чужой мужской запах.

Вываливая ему на руки стопки австрийских романов в карманном издании, Марта заверяла, что раз уж у него теперь возникли новые деловые связи с Германией, то ему больше не отвертеться от нее одними обещаниями, теперь он как миленький сядет за изучение немецкого.

Дальше, в порядке выдачи, следовали кашемировый шарф, цветастые мужские трусы-кальсоны, садовые ножницы с серебряными ручками, флакон австрийского шнапса, литровая бутылка дорогого виски из беспешинного магазина. В придачу к подаркам Марта привезла в чемодане новый, незнакомый и чем-то враждебный запах, который почему-то сразу же стал чувствоваться по всему дому...

* * *

Загородный дом Брэйзиеров, предложенный им в пользование на весь август, находился в сорока минутах езды от Канн, в окрестностях Грасса.

Вековой, толстокаменный, в три этажа, дом утопал в тени обширного парка и был не просто огромен. Комнаты и подсобные помещения «Бастиды» – так усадьба называлась – трудно было обойти за один раз, не заблудившись. Из окон просматривался поселок Рокфор-ле-Па. На отшибе села, по склону доминирующей над местностью возвышенности, усадьбу когда-то и отстроили. Но теперь она вплотную приросла к соседним участкам. Благодаря высоте и несколько сиротливому местоположению, дом всё же оставался открыт всем ветрам. Из верхних окон удавалось обозреть не только ближайшую округу. Тильные витражи выходили на совсем дикую, бугристую, испещренную расселинами равнину. Вдалеке справа проступали мутно-фиолетовые очертания Эстерельского массива. Левее, к юго-востоку, взгляд даже нашупывал предместья Антиба, с этой точки пространства невидимые, которые карабкались вверх по впадинам рельефа и вращались в сушу, словно в панцирь окаменевшего доисторического земноводного.

Видеть знакомые с детства места из окон Брэйзиерова дома для Петра было неожиданно. Но так происходило с ним всегда, в какое бы место Прованса он ни приезжал. Каждый раз приходилось мириться с этой давней и неискоренимой странностью умозрительного восприятия, унаследованной из прошлого. Он практически ничего не узнавал. И как бы он ни усердствовал, он не мог принудить свой вестибулярный аппарат к дополнительным усилиям, необходимым для полной ориентации в постоянно меняющемся пространстве. Но дело было даже не в переменах, не в застройках, которые давали о себе знать из года в год, и здесь их было, пожалуй, больше, чем в других местах, а в каких-то внутренних ориентирах, вросших в сознание с детства раз и навсегда. Казалось, что всё здесь рядом. Он с безошибочной точностью мог бы сказать, сколько времени необходимо на дорогу от одного населенного пункта до другого – например, от Канна до Ниццы, от Ниццы до Монте-Карло... – но он ни за что не смог бы определить на глаз, в каком направлении лучше ехать.

До Ля-Гард-Френэ, до дома отца, от Рокфор-ле-Па было рукой подать, так близко, что при желании проще простого казалось выявить глазами точку рельефа на горизонте, соответствующую его точному местоположению. Однако Петр не знал, в какую сторону смотреть, и всегда был вынужден сверять координаты по солнцу. Ему никогда не удавалось отделаться от ощущения, что за годы здесь изменился не просто ландшафт, а сами расстояния и меры длины, которыми их принято измерять.

Брэйзиеры уверяли, что их «Бастиды» принадлежала когда-то Луи Арагону. Правда это или вымысел – никто из их знакомых уже не задавался этим вопросом. Особенно бурно легенда обмусоливалась в тот год, когда Брэйзиер-муж решил с усадьбой расстаться и делал всё, чтобы

набить ей цену. Затем он как-то сам по себе раздумал. К превеликому облегчению всего семейства. Усадьбу удалось сохранить. Однако, будь эта легенда подлинной, докопаться до истины сегодня было бы еще труднее. Каким образом Брэйзиеры, а точнее, родители Мари, переоформившие дом на дочь, когда она выходила замуж, умудрились заполнить в собственность настоящий дом-музей?

В коридоре, перед входом в гостиную, висела фотография, вырезанная из журнала, на которой корифей французской словесности был запечатлен в обществе своей жены-красавицы и улыбающихся сотоварищей. Все как на подбор в двубортных костюмах и в галстуках, собравшись по перу, похожие на гангстеров из голливудских триллеров пятидесятых годов, прохладжались на ступенях лестницы, которая вела... в дом Брэйзиеров! Сцена из загородной жизни послевоенной интеллектуальной элиты Прованса производила неотразимый эффект. Создавалось впечатление, что Арагон, как-то нагрянувший к Брэйзиерам в гости, согласился сняться для потомков.

Марта в Рокфор-ле-Па приехала в первый раз, и ей с трудом удавалось прийти в себя от своих открытий.

– Вот здесь... прямо на этом самом месте... – она демонстрировала Петру рассохшийся венский стул, забытый на улице, на верхней террасе, – *он*, может быть, ел по утрам яички всмятку. А вот тут... иди-иди сюда, я тебе покажу еще одно местечко... – Марта распахивала дверь в небольшой тыльный солярий, заставленный массивными терракотовыми горшками, между которыми уютилось два шезлонга. – Я уверена, что здесь *он* почивал после обеда. Все знаменитые писатели работают по утрам.

– Шезлонги купили недавно, – пытался Петр ее урезонить.

– Значит, раньше здесь стояли другие. Ты не смотрел альбом в комодке... Ну на входе?

Марта уговорила его спуститься вниз, в крохотный вестибюль. Из выдвижного комода, подпиравшего простенок с зеркалом, она вытащила массивный фолиант, обтянутый траурно-черной кожей. Повидавший виды альбом был набит газетными вырезками и настоящими фотоснимками *d'époque*...

Арагон – приподняв шляпу и застыв в дружеском приветствии. Арагон – орудуя граблями перед воротами Брэйзиеров. Он же и какая-то дама – полулежа в шезлонгах и удивленно улыбаясь. Опять он – с газетой. Она – дымя сигарой. Но что удивительно, сцена разыгрывалась действительно в том самом солярии, откуда они с Мартой только что спустились вниз по лестнице...

Самое сильное впечатление на Марту производила столовая. Толстостенная темноватая комнатка сообщалась и с гостиной, и с кухней. Судя по снимкам, от которых фотоальбом трещал по швам, столовая служила корифею рабочим кабинетом. Именно в этом Арсен Брэйзиер когда-то уверял Петра, но Петр воспринимал это как розыгрыш. Теперь же настал черед Петра рассказывать невероятные небылицы Марте. И он вдруг проникался удовольствием, немного патологическим, как ему чудилось, которое Брэйзиер не мог, по-видимому, не испытывать в свое время, когда ему перепала та же роль искусителя. Правду говорить было невозможно. Раз уж она никому не известна. Басни же рассказывать так и тянуло за язык. Особенно если собеседник оказывался хоть сколько-нибудь скептически настроен...

Проснувшись около семи утра от духоты, Петр слонялся по дому. Время от времени он заходил в ванную, чтобы намочить рубашку, выжимал и надевал ее мокрой. После чего опять возвращался в самый прохладный нижний холл, где листал газеты, которыми по счастливой случайности запасся по дороге. Или снова принимался перебирать брошюры об изготовлении

оливкового масла, попадавшие под руку в каждом углу, в каждой комнате, снова поднимался на второй этаж, в жилую мансарду и изучал перемены в обстановке.

Дом Брэйзиеров оказался завален свезенным откуда-то хламом. Три года назад, когда он приезжал сюда в последний раз, захламления не было. Все комнаты второго этажа теперь загромождала старая мебель, от которой исходил запах не пыли, а черного перца.

За окнами стояла испепеляющая жара. Даже в тени температура доходила до сорока градусов. От жары спирало грудь. Раскаленный, неподвижный воздух буквально обступал невидимой стеклянной толщей. Время от времени Петра охватывало неодолимое чувство, что, стоит ему вытянуть руку, как пальцы упрутся во что-то прозрачное, твердое и непреодолимое. Но разве он это не предвидел?..

Прогулка к морю, намеченная сразу после завтрака, при такой температуре казалась полным безрассудством. Езды до ближайшего пляжа всего минут тридцать, с пробками немного больше. Но Петр с трудом представлял себе, как они выдержат весь день на такой жаре. В машине с кондиционером – это еще куда ни шло. Но на улице?

Решив полить гальку перед входом в дом холодной водой, он стал искать выводной уличный кран. Скрученный шланг валялся у самого крыльца. Значит, имелся и кран. Дважды обойдя дом, он так и не нашел ничего похожего и был вынужден вернуться в тень.

Марта тем временем разгуливала по парку. Переодевшись во всё белое, свежее, в новых шортах, в соломенной шляпе, в безрукавной майке с немецкой надписью на груди «Ich bin!» – она выглядела вызовом всему Лазурному Берегу.

Набрав под деревьями полную корзинку палых грецких орехов, она вернулась в прохладу каменных сводов дома, и вместе с орехами принесла на дне стеклянной банки подобранного за домом черного «жучка». Жучок оказался обыкновенным местным скорпионом...

* * *

К пляжным прохлаждениям Петр остыл с первого же захода. И тем больше усилий теперь требовалось от него, чтобы помочь Марте утолить жажду удовольствий, с недавшюю ее и дома, и на море. Теперь она уже не просто храбрилась, но действительно на удивление хорошо переносила жару. Ее устраивало здесь все: ночная духота, дорожные пробки, столпотворение загорающих на пляже, духота переполненных ресторанов.

Опять похорошевшая и непохожая на себя вчерашнюю – точь-в-точь как в аэропорту, когда прилетела из Вены, – Марта на ура принимала любое предложение. В любой миг готова была ехать обедать, делать покупки в супермаркете, бродить по залам местного музея, соглашалась провести вечер в кино и даже отправиться купаться в городской бассейн, где вряд ли былолюдно в разгар пляжного сезона. Однако тут же делала всё наперекор, как это обычно случалось с ней в минуты перемирия с собой, как только к ней возвращалась, лишь временно, женская уверенность в себе и неизбывная потребность верить в свою неотразимость – верить любой ценой. Что удивительно, одного желания оказывалось достаточно. От одного взгляда на нее Петру становилось беспокойно. Как и ей, ему тут же хотелось чего-то большего...

Одна ее талия, из-за «процедур», перенесенных в минувшем году, немного оплывшая, день назад вызывала у Марты уйму опасений. Но вдруг ни талия, ни дряблость ягодич ее больше не страшила. Теперь ей казалось, что ее стройная, вопреки всему, фигура выделяется из толпы и бросается в глаза своей белизной, а оголенная, правильной формы грудь с шоколадного цвета налитыми сосками приковывает к себе взгляды не только мужчин, но и загорелых конкуренток – всех мастей, всех весовых и возрастных категорий, – которыми изобиловал пляж.

И она не переставала тормошить Петра, выдвигая всё новые и новые планы, то на вечер, то на ближайшие дни, раз уж на побывку в Грасс грозился приехать ее австрийский кузен, и его нужно было чем-то развлекать. Или вдруг пускалась в неожиданные рассуждения, раскрепощенный тон которых волей-неволей приводил Петра в чувство и заставлял задуматься над тем, не становится ли их жизнь пресной, слишком обыденной. Еще вчера они боялись этого как огня. Их отношения явно нуждались в какой-то перезагрузке. Возбуждение Марты еще больше усугублялось его демонстративным безволием.

– Весь женский контингент лично я подразделяю на несколько категорий, – пыталась Марта его растормошить. – Первая – бледнотелые мамыши с безобидным целлюлитом. Вон как те, с двумя пупсиками... у самой воды, видишь?.. Вторая – нимфетки, которые хорошо понимают, что это значит. Третья – надувной мяч, к которому кто-то приделал ноги и между ног прилепил пучок соломы. Ну а четвертая – это, конечно, Эммы Бовари... Хорошенькие, томные провинциалочки. Мужья заставляют их перекрашиваться в блондинок. По-моему, они самые интересные. Если б я была мужчиной... Постой, сейчас я покажу тебе один роскошный экземпляр. Только что бродила тут одна... – Марта вскочила на колени, насадила на обмазанный кремом нос зеркальные очки и стала озираться по сторонам. – Да куда ж она подевалась?.. Ты не согласен со мной? Что ты молчишь? Какой тип ты бы выбрал? Но только честно...

– Если закрываю глаза – Эмму Бовари, – ответил он, морща лицо от ослепительного солнца. – А если смотреть на мир реальных вещей – тебя, Марта, кого же еще? Но если честно, то... боже мой, как все – нимфеток, наверное.

По лицу Марты прометнулась едва заметная тень.

– За откровенность – спасибо. Но ты прав. Я тоже предпочитаю нимфеток. Как и большинство женщин, кстати... – Ей явно хотелось чем-то удивить.

– Большинство женщин предпочитают нимфеток? Да неужто?

– А ты не знал?

Он тоже насадил на глаза черные очки и тоже стал всматриваться в пляжную суматоху, словно намереваясь что-то в последний раз сверить, прежде чем дать окончательный ответ.

Немного в стороне несколько немолодых уже подзагоревших мужчин с животами перебрасывалась детским мячом, и делали это настолько неуклюже, проваливаясь на рыхлом песке, что невольно приковывали к себе взгляды. Трое мальчиков, в чем мать родила, от загара матово-кремовые, на корточках сидели в пене прибоя и сооружали запруду. А за ними горстка разноликой детворы, мал мала меньше, обступив загорелого дочерна старика с корявыми, сухими ногами, наблюдала за тем, как он возводит из мокрого песка готический собор с подъемным мостом, арочными воротами и стрельчатыми окнами. Различить в конструкции удавалось даже лепнину на фасадах.

От скопления людских тел – бурых, коричневых, копчено-малиновых и просто белесых, цвета сметаны – пляж шевелился. И время от времени, когда в перспективе, над удаляющимися голыми телами не оказывалось стоящих во весь рост, казалось, что он кишит какими-то странными, непонятно зачем расплодившимися существами. Ни на песке, ни в воде, лениво вспенивавшейся у кромки берега и постепенно, по мере отдаления от берега, приобретающей действительно лазурный цвет, было не протолкнуться.

– Тебе не кажется, что скопление голых тел... что в этом есть какая-то предначертанность, что-то обреченное? – выдал Петр. – Смотришь на людей – вроде бегают, резвятся. А если вдуматься, на сердце так и ёкает.

– У меня не ёкает... Ты не исправим, – упрекнула Марта. – Нужно уметь отключаться, не думать ни о чем. Уметь сливаться с водой, с песком, с толпой, радоваться простым вещам, тому, что есть... Ах, да ты никогда не поймешь.

– Я согласен. Но толпа иногда противопоказана.

– Кому?

– Когда я попадаю в нее, всё как-то теряет для меня смысл. Смысл дробится на такое множество подсмыслов, что... Ну вот рассыпь сахар на полу, получится как на этом пляже, – добавил он, улыбаясь.

– Сахар?

– Горсть песка, если хочешь.

– Не знаю, чего в тебе больше, славянского мазохизма или протестантских штучек твоего папы... – Марта перевела дух. – Когда я пытаюсь представить себя на твоём месте, когда пытаюсь вообразить, что всего этого нет... пляжа, моря, толпы, солнца... меня знобить начинает. Вот смотри, к тебе только что подкатил этот тип, с мороженым. А ты его отдинамил, как будто он тебя укусил. Он тебе ма-роженое предложил!

Марта имела в виду скуластого разносчика с бронзовыми бицепсами и в одних трусах, который обходил пляж с лотком на шее; по мере продвижения атлета вдоль приюта женские лица незаметно, но в какой-то момент все до единого, оказывались обращенными в одну и ту же сторону.

– Это же болезнь! Какая-то детская фобия – испытывать страх перед ложкой варенья! – умоляюще добавила она. – Обрати внимание, как дети на варенье реагируют. Зажмуривают глаза и подставляют рот. Ты же сам любишь повторять, что мир принадлежит людям наивным, а не занудам всяким...

– Зря ты обижаешься. Я никогда не смогу этому научиться.

– Ты и не пробовал.

– Да сколько раз! – помолчав, ответил Петр. – Но я не в состоянии воспринимать толпу вот так, как ты говоришь... Что, если нам и вправду взять катер напрокат? Я знаю один островок неподалеку...

– Необитаемый?.. Пальмы, от ветра свистит в ушах?

С неприступным видом Марта стала всматриваться в необъятную акваторию, ярко-лазурная гладь которой была исполосована зелеными размывами во всю ширь залива и казалась вздувшейся.

– Нет уж. Мне нравится быть в толпе, – сказала она. – Это тоже трудно объяснить...

На следующий день жара спала. Но вместо того чтобы поехать на пляж, Марта предпочла прогулку на машине в Сен-Поль. Как раз на пути находился известный загородный ресторан, рекламный буклет которого валялся в спальне Брэйзиеров, – какая ни есть, но всё же возможность в нем побывать.

А еще через день, оставив Марту на весь день в Рокфор-ле-Па, Петр поехал в Ля-Гард-Френэ на встречу с нотариусом, чтобы урегулировать хотя бы часть дел с наследством, с зимы так и не сдвинувшихся с мертвой точки.

Вечер он провел у соседа, где застал настоящий гарем. Изрядно постаревший, от загара словно пергаментный, светлоглазый Жан коротал свой досуг в обществе двух юных племянниц, которые разгуливали по саду полуголыми, без стеснения обнажая свою грудь, и их подружек из Марселя, явно из адептов женского сожительства, которые только что выиграли в лотерею большую сумму и, как бывает только в теленовостях, где-то неподалеку приобрели на свой выигрыш ферму. Или его просто разыгрывали? Всем гуртом компания плескалась в бассейне, плитку в котором отец Петра выкладывал когда-то собственными руками.

* * *

Такси остановилось под олеандром. Из черного «пежо» выбрался рослый, худощавый мужчина с тяжелой, свисающей до плеч гривой темных волос.

Пожилой водитель выгрузил из багажника чемодан и вернулся за руль. И только в следующий миг, когда рослый незнакомец схватил Марту в объятия, да так, что пятки ее зависли над землей, Петр узнал в приехавшем Николаса Бёма, венского кузена Марты.

Из болезненного костлявого подростка с бурным характером – именно таким он помнил Николя со времени его приезда в Париж четырехлетней давности, когда тот приезжал на юношеский музыкальный турнир, – кузен Марты превратился в скуластого здоровяка-мужчину с твердым взглядом и решительной походкой.

Не сходя с верхней площадки и одобрительно глядя гостю в глаза, Петр тряс ему руку, и его лицо медленно искажалось в вопросительной ухмылке.

Застыв ступенькой ниже, гость панибратски поддал ему по плечу и вымолвил:

– Net Überraschung, was?¹

Кузен отбросил за плечи свою гриву и отчего-то смутился.

– Мы ждали тебя в полночь, – по-французски сказала Марта.

– Так получилось. Я сел в другой самолет, – тоже по-французски ответил он.

Необъятного размера зимний твидовый пиджак, нездешний матовый загар, необычайная, какая-то средневековая, редко встречающаяся породистость – Николай выглядел иноземным великаном. Впечатление сглаживали разве что светлые шорты, в сочетании с пиджаком придававшие ему что-то вызывающее, белоснежные кроссовки и какое-то прежнее упрямство избалованного подростка, запавшее на дно его умных, внимательных глаз.

Марта предложила кузену сразу же показать ему спальню. Ему была отведена комната под самой крышей, служившая Брэйзиеру не то летней конторой, не то личной опочивальней. После того как кузен осмотрел комнату, все трое вернулись за вещами, отнесли их наверх, а затем спустились в гостиную.

Радостно покусывая губы, Марта засуетилась в коридорчике между кухней и гостиной, накрывая столик под аперитив. Но ее ждало огорчение: Николай отказался от виски, от портвейна и даже от вина, заверив, что с лета вообще перестал «злоупотреблять» спиртным и теперь пьет одну минеральную воду или, на худой конец, кока-колу.

Кока-колы в доме не оказалось. Петр отправился на кухню толочь лимон со льдом, чтобы приготовить «лимонад по-домашнему», и оттуда слышал, как Марта с пылом рассказывает по-немецки о каком-то приключении, случившемся с ней в момент посадки на самолет в день возвращения из Вены, – ему она об этом не обмолвилась ни словом.

Марта приготовила на ужин маринованную в лимонном соке сырую лососину, картофельный салат, салат из помидоров с моцареллой, заправленный базиликом. И час спустя, когда стол, накрытый в столовой, был заставлен холодными блюдами, кузен говорил уже один за всех и не умолкал ни на миг.

С обескураживающим аппетитом и с восторженной всеготовностью на лице к новым впечатлениям, которые поджидали его, казалось, даже здесь, сейчас, за столом, кузен поглощал не глядя всё подряд, что бы Марта ни наложила ему в тарелку, тараторил об Австрии, об общих знакомых, о своих летних музыкальных курсах.

На юг Франции его «принесла нелегкая», как он уверял, а именно соблазн, лично у него не перестававший вызывать сомнение, принять участие в так называемом мастер-классе для пианистов, который организовывала в Каннах некая Моника де Кост. Точнее, даже не в Каннах,

¹ Что, даже не узнать? (нем.)

а по соседству, в Жуан-ле-Па, где и остановились по гостиницам все остальные участники сборища для не самых бедных, слетевшись на него со всех концов Европы. Кузен собирался ездить в Жуан-ле-Па каждый день. Каким видом транспорта Николас намеревался проделывать этот маршрут ежедневно, было не совсем понятно. Какие-то расчеты гость строил на знакомых, которые обещали одолжить ему машину, не то возместить затраты на ее аренду, если удастся найти что-то по сносной цене. В планы Николаса входило провести на юге две недели, после чего он собирался улететь в Люцерн, где его ждали уже для участия в летнем музыкальном фестивале. Программа впечатляла, она казалась более чем необъятной.

Молча следя за речью гостя и в свой черед не без аппетита налегая на сырую лососину, которая оказалась на редкость вкусной, стоило полить ее оливковым маслом и как следует посыпать укропом, Петр вдруг осознал, что кузен прекрасно говорит по-французски, почти без акцента и без грамматических ошибок. Это удивляло. Впрочем, для музыканта, для человека, обладающего музыкальным слухом, в этом, наверное, не было ничего противоестественного. Патлатый Николя стал исполнителем-профессионалом, даже если всё еще и продолжал где-то учиться. Учебой ни где попало, несомненно, объяснялась правильная постановка голоса, ученическая манера выстраивать многосложные фразы и, собственно, его упрямое желание оставаться на «вы», хотя Петр, как и раньше, был с ним на «ты». Новый тон отношений отдавал непонятным противоборством...

* * *

– Вариация в С-минор, опус № 1... Всё правильно. В вашем насвистывании, я имею в виду. Только Бах не использует постоянного схематического рисунка, скорее гармонические линии. А Гленн Гульд, если вы видели когда-нибудь кадры с ним... есть хорошие, его часто снимали... Наверное помните, когда он играет, он то смотрит на клавиши, то отстраняется, уходит в себя и не в состоянии остановиться. Он как бы прикован к месту. В этом ключ к нему... – разъяснял Николас совершенно серьезным тоном, застав Петра за насвистыванием мелодии, когда вечером следующего дня они с Мартой вернулись из Жуан-ле-Па с открытия стажировки, где провели вместе целый день.

– И как там всё прошло? Всё хорошо? – спросил Петр.

Кузен принялся с увлечением рассказывать об организаторше курса Монике, пожилой аристократке родом из-под По. Худшей дыры, чем По, по мнению Николаса, невозможно было отыскать на карте. Но это не мешало ей разъезжать по всему свету со своими курсами и издавать в десятке стран брошюры по исполнительскому мастерству.

– Марту пустили с тобой на занятия?

– Нет, сегодня занятий не было. В первый день – знакомства, болтовня, как всегда, – пояснил Николас тем же обстоятельным тоном. – Марта хотела посмотреть, как это происходит. Она права, со стороны это выглядит как слет какой-то секты.

– Очень забавная тетенька! – поддержала Марта, как и кузен, неслышно приблизившись к столу, который Петр накрыл к их возвращению в сад; она несла в руках блюдо с салатом и хотела сразу же садиться за ужин.

– «Мои дорогие и ненаглядные, заявляет она с ходу, я католичка по происхождению, но буддистка по убеждениям, я не свет мира, я ловец человеков, – подхватил кузен тему. – Поэтому ваши различия в вероисповедании мне до лампочки. Сюда вы приходите музыкантами, а дома будьте кем вам заблагорассудится».

После тишины в одиночестве проведенного дня Петру не удавалось втянуться в праздничный разговор. Предчувствуя с утра, что мистраль, который местные газеты предрекали на ближайшие часы, может заставить себя ждать и день, и больше, он предпочел никуда не ехать, и

не просчитался: весь день опять простояла жара. Не просчитался он и в том, что провел день за просмотром старых справочников по ботанике, которые обнаружил в библиотеке. Музыка Грига, Бизе, Сибелиуса, Скрябина, Прокофьева, передаваемая по радио, а вокруг мертвая тишина, служившая для фортепьянной музыки идеальным фоном, на котором она воспринималась почти визуально, – кроме того, полный унисон, возникавший от слияния монотонности исполнения, свойственного манере Гленна Гульда, о котором только что говорили, и монотонности самой тишины, придавал копошению в пыльных книгах что-то неожиданно безвременное, чуть ли не поучительное. Музыка и теперь стояла у Петра в голове, кузен был прав, но он по-прежнему не слышал ее, а как бы видел глазами как нечто переливающееся. Она была похожа на бисер, рассыпанный на черном бархате.

Когда через четверть часа ужин был на столе – горячий, брызгающий ростбиф, салат, корзинка с хлебом, сыры – и Николас принялся на еду, над столом повисло молчание, в котором теперь чего-то вдруг не хватало.

В этот вечер кузен сделал себе поблажку, согласился на «рюмку вина». Наблюдая за тем, как он вливает в себя красное провансальское вино, стакан за стаканом, Петр краем уха следил за рассказом Марты об очередном молодом маэстро, знакомом каких-то знакомых, который жаловался на низкий уровень музыкальной культуры французов, но не понимал, с чего это она заговорила об этом с таким увлечением.

– Да так оно и есть, – поддержал кузен Марту. – В немецкоговорящих странах публика совершенно другая. Бывшие империи неслучайно стали колыбелью музыкальной культуры. Даже сегодня, превратившись во второстепенные страны, они продолжают поставлять на музыкальный рынок самую доброкачественную публику.

– Публику, но не музыкантов... – заметила Марта тоном серьезной собеседницы, которую удостоили вниманием.

– Да это одно и то же. Нет публики – нет исполнителей. Если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что среди исполнителей сегодня две трети – евреи. Ты же видела. – Кузен отбросил свои патлы за плечи и ножом показал в сумерки. – Я нисколько не преувеличиваю.

– И что ты этим хочешь сказать? Что тут такого? – уточнила Марта.

– Ничего удивительного тут нет. Абсолютно ничего. Но кое о чем это говорит...

– Растолковал бы неучам... – Марта солидарно взглянула на Петра.

Кузен, опешив, отчеканил:

– Ты хочешь сказать, что раз традиция, то нельзя к ней притрагиваться? Так, что ли?

– Даже если и так... – В глазах Марты появилось задорное упрямство.

– Ну тогда ты ошибаешься. Нельзя всё валить в одну кучу, Марта, – выдал кузен с мольбой в голосе и, развернувшись на Петра, уперся в него сосредоточенным, мрачным взглядом, надеясь, по всему, услышать его мнение.

– Не понимаю, почему ты так уперся. У них всегда был врожденный дар к музыке, – зачем-то донимала Марта кузена.

– Вот это басни!

Оглядев обоих безучастным взглядом, Петр взял тарелку с сыром, подлил всем еще вина и за дискуссией не следил. Споры Марты с кузеном, разгоравшиеся на пустом месте каждый раз, когда они садились за стол, напоминали перепалку, в которой оба заранее во всем согласны друг с другом, но в чем именно, ни за что не смогли бы ответить, стоило их об этом спросить.

– Совершенно не понимаю этой позы! Почему ты решил, что басни? – продолжала Марта перечесть.

– Да никакой нет позы! Ты, Марта, как с луны свалилась! Приятно ходить с чистой совестью. Но и безглазым нельзя оставаться. Они этого и добиваются.

– Кто, милый? Кто они? Ты изъясняешься такими загадками.

– Евреи! – отрезал кузен таким тоном, словно из него выжали какое-то признание, неприятное для него самого, и перевел взгляд на Петра.

– Ты музыкант, будущий, но всё же.., – произнес Петр с некоторой заминкой. – То, что среди исполнителей много евреев, это, по-моему, общеизвестный факт. Много ли наберется хороших исполнителей не евреев? Я только не понимаю... не понимаю, как ты собираешься пробивать себе дорогу на этом поприще с такими идеями?

– Среди исполнителей их большинство – это правда! – согласился кузен, но выглядел задетым за живое. – А замечали ли вы, что композиторов среди них раз-два и обчелся? Они врожденные исполнители. К непосредственному творчеству они не способны. К настоящему творчеству, я имею в виду.

– Не знаю... Что значит настоящее? – спросил Петр. – Ваша венская школа – это не творчество?

– Вам что, венская школа нравится?.. Скажете тоже... Что я могу вам ответить... У нас в Австрии всё шиворот-навыворот.

Петр помолчал, отхлебнул из своего бокала и потянулся к новой откупоренной бутылке, стоявшей на краю стола, чтобы подлить вина Марте.

– Ты прости меня, но эти разглагольствования для меня всегда отдают чем-то плебейским, – сказал Петр. – Я понимаю, что человек простой, неграмотный, когда у него складывается что-то не так, нуждается в козле отпущения. Но ты же имеешь возможность ездить, сравнивать.

– Нет, Питер, тут я с вами не могу согласиться, – всё так же невозмутимо возразил Николас. – Вы рассуждаете по-мещански. При чем здесь простой человек? С него никакого спроса. Ему телевизор мозги так промывает, что он черного от белого отличить не может. Я говорю о том, что там, где еврей прошелся один раз, всё превращается в базар, в рынок, всё покупается и всё продается... – Водрузив оба кулака на стол, кузен смотрел на Петра испытующим взглядом. – Хорошо, посмотрите, что в кино произошло... В тридцатых годах был расцвет. А потом этот бизнес достиг таких масштабов... Голливуд ведь это только часть айсберга... что они, конечно, не могли своего проморгать и ринулись... К чему это привело? Сегодня там никаким искусством давно не пахнет! Массовое зрелище для толпы, для быдла! Как на римской арене: хлеба да зрелищ! Но это лишь частный пример. А если его вам мало, взгляните на то, что в изобразительном искусстве сегодня происходит! У меня полно друзей-художников. Все надрывают глотки, все орут о застое, о кризисе. Да кто орет? Они же! Те, кто спровоцировал этот застой своей спекуляцией, куплей-продажей, своим полным безразличием к предмету торга и непониманием, что не всё может быть предметом купли-продажи. Им ведь без разницы! Лишь бы был оборот и доходы. Один только расчет они сделали неправильный: забыли, что невозможно качать из людей до бесконечности, что золотая жила рано или поздно иссякает. Предел есть всему.

– Я тебя не понимаю. Не понимаю твоего презрения, – встряла Марта. – Ведь, что бы ты ни говорил, это одна из самых древних культур. Сколько от нее пошло! Невозможно всё так чернить.

– Рассказни и басни! Ни одного здравомыслящего человека давно на этой мякине не проведешь, – отрезал кузен. – Насчет древности – может быть. Только что с нее взять, с этой древности? Если разобраться, то больше треп. Обоим семитским племенам – я имею в виду арабов и евреев – постоянно приписывают какие-то заслуги, которые, если разобраться, порождены их же легендами. Арабам, например, приписывают достижения в науке, в медицине. Ну скажите, что я не прав!

– Ах, опять ты на эту тему... Давай отложим, – взмолилась Марта, по-видимому уже не впервые обсуждая всё это с кузеном.

– Давно известно, к твоему сведению, что всё это не так. Выдумки! Медицина у арабов началась с приглашения в Багдад сирийских медиков. Но эти медики не пошли в исследованиях дальше Гиппократа, дальше изучения его переводов. В астрономии арабы отличились изобретением нескольких новых инструментов, провели кое-какие наблюдения, но греков ничем не обогатили. Им приписывали изобретение алгебры, решение уравнений, прогрессию. Но всё это давным-давно существовало у арийских индусов! А философия арабов? То же самое всё... Они занимались болтовней, обсасывали идеи Аристотеля. Они великие комментаторы, не больше. Евреи – то же самое. Нам кто-то вбил в голову, что у них какие-то врожденные способности к научной деятельности. Так или не так? Но ведь у них даже собственных идей никогда не было! Они нанимались, что-то там дорабатывали, проталкивали в жизнь чужие мысли. Всё, чего они добились в науке, это превращения ее в абстракцию. То же самое в философии! Весь Спиноза отсюда выплыл. Отсюда весь их психоанализ. Что такое психоанализ? Религия для неверующих. Всё остальное, Марта... Всё остальное – это дезинформация, оболванивание масс, поверь мне.

– Мы говорили о музыке, – промолвила она, и на лице у нее выступил испуг, которого она уже не могла скрыть. – С чего ты завелся?

– А какая разница?! В музыке то же самое! Нам просто мозги запудривают, изо дня в день вдалбливая, что у них с ранних времен было пристрастие к музыке или еще, например, к лирике. Чем это объяснить? Да тем, что эти два вида искусства не имеют ни малейшего отношения к нашему с тобой мироощущению! Наши взаимоотношения с окружающим миром основаны на стремлении подражать природе. Это не я сказал – Аристотель! Еврею же понятие образа чуждо. Он безразличен к таким вещам, природа ему до лампочки. Он до мозга костей субъективен и вообще слишком любит разглядывать свой пупок, а не внешнее, не природу. Для него искусство – это не способ познать мир, а возможность заглянуть в себя. Большого ему и не нужно! Несчастный народ!

– Вы, мой друг, отпетый антисемит, – произнес Петр.

– Не антисемит, а антисионист. Тут есть небольшой нюанс.

Опустив глаза в стол, Петр качал головой, не считая, видимо, нужным продолжать дискуссию, но всё же добавил:

– Не вижу разницы.

– Этим словом всем глотку и затыкают. А еврейский вопрос – это тест, чтобы вы знали, который позволяет безошибочно определять, что творится в стране, причем в любой, не только в вашей.

– Очень может быть, – согласился Петр после некоторой заминки. – Меня одно шокирует: понятие «еврей», как бы ты к нему ни относился, – это одно, а конкретные, живые люди, которые живут рядом с тобой, – это другое. Лично для меня в этом главное. Всё остальное... Можно молоть что угодно. Слово всё стерпит.

– Конкретный, живой человек – это мельчайший элемент целого организма. Даже если поступки этого конкретного человека не продиктованы непосредственно интересами этого организма, он всё равно им служит, самим фактом своего существования. Это как в партитуре: одна нота не делает сонаты, но является тем элементом, без которого и гаммы не построишь... Но я понимаю. Вы хотите сказать, что человек не виноват, что он родился таким, а не другим? А вы или я – мы что, виноваты, что мы не евреи?

– Ты тоже являешься частью общности. Не той, так другой. И тоже служишь чьим-то интересам, – сказал Петр, уже не скрывая своего раздражения.

– Нет, вы не понимаете.

– Чего я не понимаю?

– Ну вот на днях... Мне попала в руки статья. О скандале в Англии, разразившемся из-за театральных постановок Шекспира. Не слышали? Какой крик был поднят! На весь мир!

Петициями завалили министров! Из-за чего, спрашивается? Оказывается, «Венецианский купец» – это антисемитская пьеса... Представляете? Они требуют запретить все постановки этой пьесы. Да, представьте себе! Французам ведь не приходит в голову требовать запрета по всему миру постановок «Скупого», потому что Мольер, видите ли, делает из них посмешище. У иудеев отсутствует критическое отношение к себе, чувство меры. Вместо чувства меры – чувство локтя, клановая психология. Или просто комплекс вины. Но это в лучшем случае. Они вообще очень чувствительные от природы. Гораздо чувствительнее нас с вами. Они и боль сильнее чувствуют. Но только свою собственную, не чужую. Поэтому и выживаемость у них выше, в любой среде...

Все трое вдруг замолчали, чувствуя, что разговор дошел до какой-то неожиданной черты, дальше которой продолжать его невозможно, но вместе с тем и прервать его на сказанном тоже было уже нельзя.

– Нико, во-первых, что у тебя за манера всё утрировать до такой степени? – произнесла Марта с дрожью в голосе. – А во-вторых, ты просто заводишься. Без всякого повода.

– Сколько ни обсуждай, этой теме конца не будет, – пробурчал тот; схватив со стола бутылку, Николас подлил себе вина, залпом осушил бокал и, машинально пощипывая хлеб и запуская смятые катыши себе в рот, яростно их пережевывая, что-то упрямо обдумывал.

– Ты не наелся? – спохватилась Марта. – Тогда возьми сыр. Что ты хлеб ешь всухомятку?

– Красное французское вино и хороший хлеб – нет ничего лучше, – просиял тот ребячьей и оттого немного странной улыбкой, после чего, вскинув на Петра упрямый взгляд, всё еще чего-то от него дожидаясь, заговорил другим тоном: – Вы взгляните через эту призму на события, происходящие в Европе. Объединение, я имею в виду. Попробуйте взглянуть на сегодняшний геополитический переворот с этой точки зрения. Я уверен, что вы придете к потрясающим наблюдениям. Волосы встанут дыбом! Объединение, уничтожение границ... прежде всего, конечно, финансовых границ... и даже крушение советского режима, и даже балканская заваруха – всё это стороны одного явления, глобального, планетарного. Что, по-вашему, происходит сегодня в Европе?.. Вас, Питер, опять будет шокировать то, что я скажу, но я вынужден вам сказать то, что понимают многие люди. Это вызвано переменой иудаизмом своей стратегии. Вот откуда нарушение равновесия в мире, свидетелями которого мы являемся! И надо быть слепым, чтобы не видеть, или просто отказываться смотреть на вещи, что существует сознательная, целенаправленная деятельность определенных общественных сил, которые медленно, но уверенно добиваются переворота в мировом порядке. Цель окончательная непонятна... Но мы в Австрии хоть это понимаем. В послевоенные годы иудаизм перенес центр тяжести из Германии во Францию, сделав Францию плацдармом, сделав ее центром своих интересов в Европе. Почему Францию? Да потому что в ней сложились благоприятные условия для этого. Через Францию проходит вектор мировых отношений. Теперь этот вектор направлен не по горизонтали, как было до сих пор, – между востоком и западом, в центре которого была Германия, а по вертикали – между севером и югом. Французы – терпимый народ. Немного бесхарактерный, но поэтому и терпимый. Это первое. С войны в них засел комплекс вины перед иудеями – это второе. Ну и еще вбили им немного в головы всякой мурсы, для надежности... Умеренный политический климат, сложившийся во Франции, демократическая бесхребетность общества, вся ее гуманитарная демагогия на тему прав человека и гражданина, – это третье. К тому же экономическое положение неплохое. Нет разгула ксенофобии. Остальное вычисляйте сами. Если предположить, первое, что культура капитализма, изобретенная иудеями, обусловила укрепление иудаизма в Европе. Если предположить, второе, что иудаизм должен иметь в Европе точки опоры, а он должен иметь их повсюду, потому что его проникновение в культуры не может быть локальным. Без постоянного расширения, подпитки оно сразу бы задохнулось. Если предположить, что этой точкой опоры является Франция – это третье. То из этого вытекает, что в объединении Европы больше всего заинтересован иудаизм,

а не сама Европа. Его кропотливая деятельность привела к желаемому результату. Понимаете меня?

– Невероятно... Как можно с такой уверенностью городить подобные вещи? – проговорил Петр. – Или ты действительно не понимаешь, куда могут завести подобные рассуждения?

Николас помолчал, опять что-то быстро обдумал и, усмехнувшись, ответил:

– Так все и рассуждают... Но дело даже не в уничтожении границ. Если учесть, какой характер носит это объединение, его опору на финансовые интересы, а не на культурные... культура не нуждается в воле министров и в парламентах... всё становится ясным как божий день. Перевес сил давно произошел. Сегодня заканчивается последняя рекогносцировка. История опять может повториться – вот что я хочу сказать. Антиеврейские выпады возможны в нашей цивилизованной Европе как ответная реакция одураченной части общества. Ведь больше других страдают простые люди, как вы говорите, потому что именно они дольше всех остаются в неведении. Простолюдину чужд гуманитарный релятивизм образованных классов, поэтому, очухавшись, он способен на самые непредсказуемые действия. Так было в Германии. Какое количество людей в один прекрасный день превратилось в головорезов! Все немцы, все арийцы от рождения такие? Да нет же! Они просто превратились в слепое орудие, в исполнителей воли озверевшей толпы, в антиидею, если хотите. За всем этим стояла воля истории!

– Одним словом, заговор. Заговор черных сил в мировом масштабе, – подытожил Петр после некоторого молчания.

– Зря вы надо мной издеваетесь... – Разорвав на куски новый ломтик хлеба, Николас вновь стал жевать его всухомятку. – Настоящий заговор, он в самой идее избранности, носителями которой ни вы, ни я не являемся.

– Ты обвиняешь еврея в умении торговать, в том, что он талантливее тебя в предпринимательстве, в том, что он более коммуникабелен. Взгляни же на это и под другим углом: может быть, он вынужден делать за тебя грязную работу, потому что ты не хочешь пачкать руки? Может быть, ему выбора не оставили?

– Да почему это я не хочу пачкать руки? Так рассуждать – ни с кого вообще ничего не спросишь. Мы оба правы, – буркнул Николас и замолчал, начиная понимать, что зашел слишком далеко.

– Нет, кто-то из нас не прав.

– Да в чем я не прав, Питер?

– У тебя в голове каша! Тебя обуревают злоба, ненависть и, черт его знает, может быть, даже зависть.

– Зависть? К еврею?!

– Bitte, Niko! Das reicht jetzt! – заговорила Марта по-немецки. – Höre jetzt endlich auf Wein zu trinken! Oder willst du krank werden.²

И опять над столом повисло молчание. Все трое какое-то время смотрели в беспокойную от ветра темноту парка, но каждый в свою сторону.

– Что бы мы ни говорили, искусство не может быть предметом торга, – сказал кузен изменившимся голосом, пытаясь найти хоть какую-нибудь почву для взаимопонимания. – С этим я никогда не смогу согласиться.

– Ты просто расист. В самом вульгарном смысле этого слова, – сказал Петр.

– Да! – вспыхнул тот. – Да! Я их не люблю. И я уверен, что в душе вы их тоже не любите. Вы просто не хотите себе в этом признаться. Бойтесь сказать себе правду, потому что не знаете, куда она вас заведет. И расизм тут ни при чем! Более страшных расистов, чем сами иудеи, нет на свете!

² Прощу тебя, Нико!.. Хватит хлестать вино! Тебе будет плохо (нем.).

– Niko, ich biete dich, halt den Mund!³ – вновь взмолилась Марта. – Еще одно слово, и я уйду! Вы хотите продолжать вдвоем?

– Что бы ты сказал в таком случае на то, что я еврей? – проговорил Петр с двусмысленной ухмылкой.

– Вы?

– Я.

Кузен мерил его растерянным взглядом, не зная, как реагировать.

– So ein Mist!⁴ – пробормотал он, врезав кулаком по столу, и добавил: – Не верю!

– Придется поверить, – сказал Петр.

Николаас перевел окаменелый взгляд на Марту, опять уставился на Петра, но тут поднялся из-за стола и выплеснул:

– Тогда... катитесь вы к чертовой матери! – Он отшвырнул стул и стремительной поступью направился в дом.

– Ну дает.., – произнес Петр после некоторого молчания.

– Да просто выпил. Он же никогда столько не пьет, – сказала Марта с надрывом в голосе. – Ты тоже хорош.

– Вот так я себе и представлял Австрию... Кожаные шорты с бубенцами. Не люди – а лбы какие-то, марсиане. Едят за троих. Говорят за десятерых.

– Сам не знаешь, что мелешь... Он совсем не такой. Зачем ты сказал ему, что еврей? Зачем нести такую чепуху? Зачем говорить неправду?

– Хотел посмотреть, что он на это скажет.

– На подобную чушь?! И что? Увидел?

– Все однажды попадают в такой переплет. Единственный способ что-то объяснить человеку – это дать ему возможность побыть в шкуре другого. Словам никто не верит.

– Ты жалеешь, что я его пригласила?

– Нет, не жалею. Просто устал от выяснений.

– Он совсем не такой, – вновь заверила Марта. – Ему хорошо у нас, и он вспыхивает. А ты, вместо того чтобы промолчать, разжигаешь его своей манией всему перечить. У тебя талант выявлять в людях недостатки, давно это заметила. Ты специально ставишь людей в такие ситуации, чтобы проверить: выдержит или сломается. Но ведь нет таких людей, кто мог бы выдержать такой экзамен!

– О чем мы говорим? Он просто юный, самоуверенный дурак!

Отведя взгляд в темноту, Марта насупленно молчала.

– Как хочется покоя! – добавил он. – Без болтовни, без арийцев и истории племен. Какая-то напасть последнее время! Одни арийцы вокруг, ты обратила внимание?

– Раньше ты утверждал, что немцы тебе нравятся.

– Они мне и сегодня нравятся. Мне просто надоело обсуждать проблемы вселенной, сидя перед тарелкой с сыром, можешь ты это понять?

– Если я правильно тебя понимаю, завтра ты снова собираешься просидеть здесь весь день?

– Ради бога, увези куда-нибудь этого Гулливера.

В саду стемнело. Несмотря на поднявшийся ветер, шумная, безлунная ночь казалась настолько плотной и непроглядной, что свет из окон, выхватывающий из темноты неестественно правильные трапеции, придавал очертаниям «Бастиды» временный, бутафорский вид. Со всех сторон доносился шум листвы, сопровождаемый непонятным скрежетом и отдален-

³ Нико, умоляю тебя, больше ни слова, пожалуйста! (нем.)

⁴ Черт знает что! (нем.)

ными судорожными толчками, которые передавались по воздуху словно взрывная волна. Но это и был долгожданный мистраль. Ветер поминутно нарастал и обещал стать ураганным...

– Никогда не думала, что мы доживем до таких дискуссий, – произнесла Марта, кутаясь в шерстяную кофту, однако в голосе уже звучало примирительное безволие. – Петр, я хочу тебя попросить о чем-то важном...

– Разумеется. – Он поднял на нее взгляд.

– Если ты когда-нибудь захочешь порвать со мной, то прошу тебя, скажи об этом сразу.

Медленное унижение – самое ужасное.

Он с досадой покачал головой.

– Я серьезно.

– Вы страшный суд решили надо мной устроить.

– При чем здесь суд... Ты всё выворачиваешь наизнанку. Я о другом говорю. Ну посуди сам... В каком огромном мире мы живем! Какое количество людей нас окружает! И хотя бы поэтому я никогда не смогу поверить, что тебе не попадают женщины, которые тебя бы притягивали. Это невозможно, если ты нормальный мужчина. Я не хочу сказать, что это должно произойти. Но для меня важен принцип... Скажи, положи руку на сердце, ты веришь в физическую верность?

Петр поднялся, раскуривая сигару, обошел стол по кругу, повернулся к Марте спиной и, о чем-то размышляя, смотрел в шумящую темноту.

– Ни в физиологию, ни в ее господство над нашими мозгами я не верю, – сказал он. – Всё зависит от того, что мы хотим от жизни и друг от друга.

– Слова... А я серьезно. Любовь основана на физическом, а физическое изнашивается... Иногда я себя спрашиваю, любишь ли ты меня – как я есть, или ты выдумал меня, изобрел в своей голове нечто очень похожее на меня. Ведь ты даже не нуждаешься в доказательствах, в том, чтобы хоть иногда сверить, соответствует ли твой образ действительности. Для тебя всё давным-давно ясно. А мне доказательства нужны на каждом шагу!

– Я понимаю... Ты меня упрекаешь в том, что я не доказал тебе свою любовь через приязнь к этому супермену? Глупо! Глупо то, что присутствие этого лба с куриными мозгами толкает тебя на обсуждение таких тем.

– С тобой невозможно ни о чем говорить.

– Завтра этот Гулливер переедет в свой палаточный лагерь, или... где их там расселили?

В противном случае я перееду в гостиницу.

Петр взял со стола бутылку виски и скрылся в доме.

* * *

Гарнская жизнь после отпуска текла в своем обычном ритме. Конец лета был уже на носу. Вечера и выходные, как и прежде, уходили на розарий. Солнечные дни держались весь август. В свободное время Петр даже не выбирался за черту поселка.

Как-то вечером, в субботу, Марта попыталась уговорить его оставить намеченные на воскресенье планы и поехать к ее знакомым. Супружеская пара, оба австрийцы, жившая к северу от Парижа, уже в третий раз приглашала их на обед. Петр решил подумать до утра, хотел принять решение в зависимости от того, какая будет погода.

– Я одного не понимаю... Они нас ждут каждое воскресенье? – удивился он. – Чем вызвано такое радушие?

– Стремлением нормальных людей к общению... Не всем же дано находить смысл жизни в разведении кустов... да еще и стерильных... – вырвалось у Марты; и следом посыпались другие упреки за испорченный отпуск, ведь все две недели они просидели в «Бастиде» безвыездно,

будто под домашним арестом, и домой вернулись раньше времени не из-за жары, а спасаясь от уныния, с которым трудно было бороться живя в чужом доме.

Разговор сразу принял неожиданный оборот. Решив разом выплеснуть наболевшее на душе, Марта упрекала его в том, что, вернувшись в Гарн, он решил жить по старинке, хотя обещал по возвращении изменить их жизнь в корне, да и просто отказывался понимать, что на этот раз «чаша долготерпения» переполнилась. Марта считала его виновным в том, что потеряла «свободу души и тела». С чем будто бы смирилась. Однако никак не могла смириться с похороненными обещаниями, с тем, что он ничего не предлагает ей взамен, взамен ее жертвы, и даже больше не считает нужным выслушивать ее, отмахиваясь от всего.

– Мне всё это на-до-е-ло, – выговорила она по слогам.

Петр продолжал спокойно рыться в ботаническом справочнике, обвинениям внимал как чему-то должному, когда с улицы донесся крик соседа. Архитектор завел привычку голосить через ограду, если в чем-нибудь нуждался, потому что ленился делать обход через улицу.

Петр поднялся и вышел в сад.

Вернувшись через некоторое время, он молча прошел в свою рабочую комнату, принес несколько листков бумаги, стакан с гелиевыми ручками и разложил писчие принадлежности перед Мартой.

– Пожалуйста, изложи все претензии на бумаге. Так будет проще, – сказал он тоном холодного сожаления. – Но только всё, абсолютно всё. И лучше по пунктам. Иначе сама запутаешься.

Он придержал ее жестом, не хотел возражений. И в тот же миг поймал себя на мысли, что предлагает ей именно то, к чему прибегал в детстве его отец. Терапия себя неплохо зарекомендовала. Действенность ее в нужный момент превосходила все ожидания. Но что-то заставило его смягчить тон:

– Ты увидишь, как всё станет ясно... Для нас обоих.

– Дело не в претензиях... – Лицо Марты стало еще бледнее. – Я думала, хотя бы в этом мы способны понять друг друга. В том, что нужно говорить правду друг другу. Или ты опять считаешь, что всё это наивный бред? Ответь, пожалуйста!

– Говорить правду?.. Честное слово, не знаю.

И он вышел на улицу.

С утра в воскресенье утро выдалось неожиданно серое и облачное. Встав раньше обычного, чтобы к обеду успеть справиться с намеченным планом работ в розарии и поехать с Мартой, как она просила, к австрийцам, Петр, не завтракая, вошел в свой кабинет за рабочей одеждой, где оставил ее с вечера, чтобы утром не делать шума. На письменном столе он заметил стопочку исписанных листов, аккуратно скелотых скрепкой.

Пробежав глазами по первой странице, он не без удивления обнаружил, что Марта выполнила его вчерашнюю просьбу.

Он хотел отложить листки обратно на стол, чтобы внимательно просмотреть позднее, но что-то заставило его сесть и прочесть их сразу же.

Ты просил меня «изложить» всё, что я думаю о тебе, спокойно и по порядку. Боюсь, что будешь жалеть об этом. Что ж, выполняю твой каприз. Не в первый раз. Последовательность «изложения» условная. Ее никогда и не было в моих к тебе чувствах...

Марта отнеслась к его просьбе со всей серьезностью. Написанное оказалось не просто обвинительным актом – справедливость его сама по себе не имела большого значения, так как

Петр заранее готовился признать свою вину во всем, к чему бы ни свелись упреки, – но именно это и показалось ему вдруг непонятным и в чем-то даже ошеломительным.

Казалось непонятным, что Мартина правда, при всей ее доказуемости, очевидности, вдруг не отзывалась в его душе ни одной струной. Ее обиды опять пробуждали лишь раздражение. Но затем он стал чувствовать нарастающее желание что-нибудь разбить, сломать, уничтожить.

У него спирало дух. От какого-то тошнотворного наплыва, близкого к чувству страха. От неспособности приостановить в себе какой-то внутренний разгон, ускорение чувств. Не по себе вдруг становилось от мысли, что однажды вообще не удастся перебороть себя. И это казалась совершенно аномальным.

Страшнее всего, Пьер, в твоём первозданном, неотесанном эгоизме, у которого столько разновидностей, столько оттенков, это то, что я чувствую себя после проведенных с тобой лет выжатым лимоном, который скоро выбросят в мусор...

Ты позволяешь себе заявляться в ванную в тот момент, когда я моюсь и раздета догола... Видел бы ты выражение твоих глаз! Ты разглядываешь меня, будто содержимое твоего шкафа, не зная, какую выбрать рубашку. Да, я поправилась! Да, лечебные процедуры, которые мне пришлось перенести в этом году, портят тело женщины. На некоторое время или даже навсегда!

Ты всегда оставляешь в кухонной раковине губку, полную жижи. Представить себе не можешь, как мерзко брать ее в руки. Такое чувство, что берешь жабу и выжимаешь из нее внутренности...

Когда ты суешь на улице подаяние нищим, как правило одну мелочь, от которой у тебя просто отвисает карман, почему-то решив, что больше чем франк нищим давать не положено, а почему не положено – сам не знаешь, ты умудряешься еще и обижаться, когда тебе не говорят за это «спасибо». Ты стараешься сохранить оболочку, какой-то панцирь, и называешь это чувством собственного достоинства. Но ты и не думаешь спрашивать с себя по справедливости и лишь прячешься за поступки, которые тебе ничего не стоят, обходятся не дороже франка...

Ты завел привычку разговаривать с собой вслух, не думая о том, какое впечатление это может производить на окружающих. Я тебе скажу – какое. Мороз дерет по коже! А твоя страсть напевать Моцарта в кресле перед окном, поигрывая коленями и дирижируя карандашиком...

Ты уверен, что для меня нет ничего лучшего, чем ты, на всём белом свете! Подобного самомнения я никогда не встречала! Ты убежден, что спать с тобой в одной постели – верх наслаждений... А если хочешь знать всё начистоту, не такой уж ты сногшибательный партнер. Мне приходилось встречать и получше. Ты никогда не спрашивал себя, какое впечатление могут производить на меня твои звериные, кратковременные вспышки? Ты бросаешься на меня, как животное. Ты спешишь удовлетворить свою нужду как можно быстрее. Я же после этого чувствую себя полной идиоткой. Но мало этого! После этой гимнастики я должна еще и успокаивать тебя: ах, как было хорошо, ах как сладко! Знаешь ли ты, что убиваешь этим мое тело на долгое время? Ты занимаешься любовью так же, как ешь: с аппетитом, с минимальной затратой времени и до полного очищения тарелки...

Ты потерял ко мне уважение как к женщине – из-за твоего чрезмерного уважения ко мне как к личности... Твои разговорчики про дух и тело отдают могильным холодом... Где вся эта la vie en rose, которую ты пообещал?! Где

она, я спрашиваю. Идейка сама по себе, конечно, дурацкая. Но кто тебя тянул за язык?

Мне претит твой повышенный интерес к чулочной эстетике. Всё это мне не кажется эротичным. Такие аппетиты под стать любому профессиональному шоферюге. Ты считаешь, что хорошо одетая женщина притягательнее, чем раздетая. Ты считаешь, что в отношениях существуют границы, которые нельзя преступать. Со всем этим я не согласна!

Ты всё, всё взял от меня, что мог. Я чувствую себя обескровленной. Я утратила желания, потребность хотеть. Что может быть ужаснее! А ведь я еще молода, красива, нравлюсь мужчинам, мне свистят иногда на улицах. Я еще люблю радости жизни.

Твоя страсть к изоляции меня оболванивает, загоняет в пустоту. В тебя-нет! В был-да-сплыл!..

Свой перечень упреков, растянувшийся на три страницы, Марга подытоживала извинениями:

...Я всё же прошу простить меня. Если ты на это способен. Как ты сам часто говоришь, беда правды в том, что у нее много разных сторон...

Было уже почти восемь, когда Петр вышел на улицу. Давно рассвело. Промозглая серость, однако, всё еще застилала сад. А в низине над лугами по-прежнему висели клочья ночного тумана.

Намереваясь пройтись секатором по верхушкам роз вдоль правой ограды, он обкромсал два куста и решил взять грабли, чтобы размяться. Энергичными движениями он принялся сгребать палую листву, но затем пошел за тачкой, боялся, что позднее забудет о ней. Оставленная посреди газона, тачка должна была напомнить Далл'О, который с утра в понедельник собирался выйти на работу, о его невыполненном обещании убрать наваленную листву в самом низу.

Вернувшись на террасу, Петр вдруг оторопел от внезапно пришедшей ему в голову мысли. В следующий миг эта мысль показалась ему настолько естественной, да и очевидной, что от растерянности он застыл на пороге в дом и, глядя в сад, недвижимо обдумывал, что теперь делать, с чего начинать.

Стараясь оценить свое положение трезво, без преувеличений, он не мог преодолеть в себе какого-то последнего барьера. Единственное более-менее твердое заключение, с ходу и окончательно закрепившееся в его сознании и больше не вызывавшее ни недоумения, как бывало, ни душевной путаницы, толкало к признанию простой, тривиальной истины: вот уже шестой год он живет с человеком, с которым не имеет ничего общего. Как он мог связать себя до такой степени, буквально по рукам и ногам? Да еще и со сварливой женщиной, каких полон свет? При этом и сам был не лучше. Разве не был он одним из заурядных представителей своего пола в своей заурядной потребности делить жизнь с женщиной просто в силу своей неспособности жить без никого? От неумения жить как-то по-другому. Потому что не научили? В этом было что-то низкое, ничтожное, унижительное...

И уже через минуту хорошо знакомый ему голос – тоже внутренний – пытался его образумить. Безрадостные прозрения на свой счет вроде бы не казались столь однозначными. Человек – не раб ли он своих эмоций? Стоит дать ему послабление – и он способен возненавидеть кого угодно, что угодно способен очернить, и умеет это делать с талантом непревзойденным. Но с тем же успехом он может и смириться. Может найти во всем новые положительные стороны и новые оправдания себе и той жизни, которой он довольствовался еще минуту назад. Как бы то ни было, с глаз Петра вдруг спала какая-то пелена.

Войдя в гостиную, Петр запустил на диван свое садовое кепи, поднялся на этаж, в одну из спален, распахнул кладовку, выволок серый пухлый «самсонайт», купленный накануне поездки Марты в Зальцбург, затем другой, старенький, но еще более вместительный. Вытащив пустые чемоданы в коридор, он распахнул гардеробную нишу и стал доставать из нее и складывать в чемоданы Мартину одежду, ту, которую она чаще всего носила...

Было почти двенадцать, когда Марта показалась на пороге гостиной. Он сидел в кресле и перебирал старые газеты. Пачками сваливал их в холодный камин, а некоторые, заголовки которых чем-то привлекали внимание («Конец прохладениям», «Жаркий сезон только начинается», «Обуздание с запозданием»...), зачем-то откладывал в журнальную корзину.

Вряд ли до Марты сразу дошло, что что-то случилось. Но, нюхом чуя в воздухе какую-то перемену, она, не здороваясь, прошла в ванную и через несколько минут вернулась в теплом халате.

– Ты же в Версаль с утра собирался, – напомнила она с порога.

– Смена программы... Марта, тебе нужно сосредоточиться. Я тебе сейчас скажу что-то важное, – произнес Петр, не глядя на нее.

– Только, ради бога, не делай такую мину...

– Ты уезжаешь. У тебя осталось... – Задрав рукав свитера, он взглянул на часы. – Полчаса с небольшим...

– В каком направлении, если не секрет? – помолчав, спросила она.

Петр молча смотрел в пол, вдруг чувствуя в своем поведении какое-то несоответствие со смыслом сказанного. Но в то же время он изо всех сил старался убедить себя, что таков жребий, что взятую на себя роль необходимо доиграть до конца, обратного хода не было.

– На сегодня обойдемся гостиницей. А завтра я подыщу тебе что-нибудь постоянное, – сказал он. – Я буду снимать тебе квартиру. Я обо всем позабочусь...

Марта утопила руки по локти в карманы халата.

– У тебя не все дома, по-моему.

– Насчет этого... Я собрал тут кое-что. Всё не влезло. Остальное привезу потом...

Дальше всё происходило по продуманному сценарию. Без сцен, без ломания рук, без выяснений отношений. Беспрекословно повинувшись – ее реакция была всё же неожиданной, – Марта забралась на заднее сиденье машины, каждым своим жестом давая понять, что покоряется лишению прав из снисхождения. Ведь всё равно ей не давали двигаться так, как ей того хочется. Всё равно не давали говорить нормальным человеческим языком. До сих пор ее вообще только истязали всё время и мучили. И вот теперь везли на последнюю пытку. Чего тут непонятного?

Петр загрузил чемоданы в багажник. Они молча вырулили на шоссе...

Молчание было нарушено за всю дорогу до города один раз. При выезде из Дампиерра Марта вынула что-то из сумочки и членораздельно произнесла:

– Я ко всему готовилась... Но не думала, что ты способен на низость. – Она закурила и, презрительно помолчав, аккуратно выпуская дым в приоткрытое окно, присовокупила: – Это только доказывает, что прочитанное тобой – правда... чистейшая правда. Я и сама не сразу это поняла... Будь добр, убери ногу с газа. Грузовик на дороге не едет, а стоит, мы врежемся...

Остановив машину перед первым же приличным на вид отелем, как только они пересекли Периферик и въехали в город, Петр молча вылез из-за руля, прошагал к багажнику, выгрузил чемоданы и сделал знак швейцару, стоявшему на входе.

Тот приблизился.

– Об остальном я позабочусь. Не волнуйся..., – повторил он с горькой усмешкой.

Не проронив ни слова, Марта направилась следом за швейцаром, понесшим ее чемоданы к карусельным дверям.

Едва отъехав от гостиницы, Петр вновь остановил машину, уже перед входом в кафе. Выбравшись из-за руля, он вошел в безлюдное бистро напротив и заказал у стойки стакан горячего молока с сахаром. Такой заказ он сделал впервые в жизни.

Пока бармен подогревал молоко, он обводил взглядом редких посетителей, всматривался в невзрачную городскую перспективу за окнами и с туманом в голове, с каким-то муторным чувством неправильности происходящего, которое не давало сосредоточиться на главном, думал о том, что последние адье получились нелепыми и что ему вряд ли удастся избавиться от угрызений совести. Уже сейчас, не прошло и нескольких минут, угрызения сжигали его изнутри адским огнем...

Только позднее, вновь очутившись на улице, вновь шагая по тротуару и вслушиваясь в шелест листвы под ногами, он подумал, или, скорее, ощутил и не успел облечь свое чувство в слова, что труднее всего ему привыкать не к своему новому положению, не к обретенной свободе «души и тела» – в нее-то он как-то не верил, – а к самому себе. Возможно, поэтому возвращаться в прежний мир вдруг мучительно не хотелось...

Часть вторая

До прибытия поезда на Северный вокзал Парижа оставалось еще около получаса, но в вагоне первого класса уже чувствовалось оживление.

Часть пассажиров заблаговременно готовилась к выходу. Самые нетерпеливые заражали непоседливостью других. Пожилой итальянец в зеленом свитере, которого звали Витторио – так на весь вагон обращалась к нему спутница, пожилая эксцентричная дама в собольей шубе, приходившаяся ему, по-видимому, родственницей, – принялся снимать с верхних полок свои многочисленные пожитки и без ложной скромности принял помощь соседа, который не усидел на месте лишь из опасения, что один из свертков свалится ему на голову. Возле тамбура кто-то подал еще более дурной пример. Преждевременная возня с чемоданами перед багажной нишей привела к столпотворению в проходе. Но кое-кому всё же удалось выйти с вещами в тамбур.

Один из стоявших в тамбуре мужчин, седовласый, средних лет француз в сером костюме, который оказался здесь до начала всеобщего ажиотажа, молча всматривался в плывущие за окнами городские окраины. Время от времени он что-то сверял по выражению лиц попутчиков, словно дожидаясь от всех какой-то единодушной реакции. И когда вагон вновь вынырнул из темного туннеля и с улицы потянуло запахом горелой резины, француз с усмешкой произнес:

– Перед вокзалом всё становится резиновым, даже время...

Стоявшие рядом немцы – оба в светлых макинтошах, с сонными лицами – отреагировали на шутку одинаковыми вежливыми осками. Вряд ли они говорили по-французски. Догадавшись, что его не понимают, но считая нужным объясниться, француз постучал указательным пальцем по стеклу своих часов, несколько раз сокрушенно мотнул головой, после чего, словно обидевшись, отвел взгляд в окно и больше не произносил ни слова...

На протяжении всей дороги Арсен Брэйзиер испытывал небывалый душевный подъем. Хотелось думать и говорить обо всем и ни о чем. О Люксембурге, где он провел два дня, о планах дома в Тулоне, куда он возвращался. Вдруг захотелось какой-то новизны, чего-то неожиданного.

К поезду на вокзал обещала подъехать дочь. И поскольку это случалось вообще впервые – встречать Луизу на перронах до сих пор приходилось ему да матери, – этот новый виток в отношениях придавал непредусмотренной остановке в Париже какое-то недостающее ей значение, а вместе с тем не мог не навевать необъяснимой, минутами невыносимой, но всё же приятной грусти по ушедшему. Чувство новизны обострялось и оттого, что возвращаться из Люксембурга пришлось поездом через Париж, а не самолетом, без всяких остановок, как Брэйзиер планировал поначалу. Из Люксембурга он собирался вылететь напрямик домой, однако внутренние французские авиалинии уже вторые сутки работали с перебоями из-за забастовок летного персонала, вылет откладывался на неопределенное время, и еще до того, как он выехал из гостиницы, предусмотрительный консьерж позаботился о том, чтобы забронировать ему место в поезде...

В наилучшей форме Арсен Брэйзиер чувствовал себя и от результатов поездки. В Люксембург пришлось ехать по делам тулонской фирмы. Неделя пролетела как один день, с максимальной пользой. Переговоры завершились настолько удачно, что время от времени он спохватывался, пытался приостановить в себе какую-то безудержную внутреннюю спешку, она же и лишала его твердой почвы под ногами. И в который раз он был вынужден задавать себе странноватый вопрос: не напутал ли он, не принимает ли он желаемое за действительное?

Факт оставался фактом: выгодная сделка была заключена, осталось обменяться документами. Кроме того, еще и удалось отдохнуть и даже приобрести в лице новых партнеров новых друзей и единомышленников, что и подавно не входило в планы. Необходимость возвращаться через Париж Брэйзиер принял как должное. Теперь уже ничто не могло поколебать в нем душевного равновесия. Непредвиденная остановка в Париже приходилась даже кстати. Она давала возможность привести в порядок некоторые столичные дела, до которых с лета не доходили руки...

С выражением шутливой симпатии на лице Арсен Брэйзиер взглянул на немцев, скользнул глазами в сторону пожилого люксембуржца, который «путешествовал», как сам старик выражался, с десятилетним мальчуганом, по-видимому внуком, – оба шушукались о чем-то в противоположном конце тамбура, показывая друг другу внутренности своих кепок. Взгляд Брэйзиера уперся в белокурую даму в шотландском килте, которая всю дорогу листала английские журналы по собаководству и тоже решила ждать конца поездки в тамбуре. Отвесив ей едва заметный поклон, Брэйзиер погрузился было в задумчивость, но в тот же миг спохватился, заметив, что та держит на весу кожаный саквояж. Он сорвал свой небольшой чемодан с откидного сиденья, подхватил саквояж попутчицы, водрузил его на место своей поклажи и, отвернувшись к панораме, плывущей за окном, смотрел в одну точку, как это бывает с человеком, который чувствует, что оказался в центре внимания...

Встречу назначили перед табло прибытия. Но дочь опаздывала.

Арсен Брэйзиер прошелся вдоль выхода на перроны, вернулся обратно, подождал еще несколько минут и, купив в киоске номер «Фигаро», направился к выходу в город. На улице он остановил такси и еще через полчаса вышел из такси перед входом небольшого, средней дороговизны отеля с окнами на улицу Дофин.

Брэйзиер назвал свою фамилию, и молодежавый портье тут же выложил на стойку конверт с письменным сообщением: несколько минут назад его передали по телефону.

Записка была от дочери:

Папа, дорогой, здравствуй! И извини, пожалуйста. Я позвонила и узнала, что поезд опаздывает, и на вокзал не поехала, боялась прозевать мероприятие на факультете. Нам вlepили на сегодня дополнительное. Не успела дозвониться тебе в это королевство. Приеду в два часа. Дождись меня. Твоя дочь Луиза.

Дай человеку, который записывает под мою диктовку, двадцать франков на чай, я пообещала.

О каком «собрании» может идти речь в сентябре? Занятия у дочери начинались позднее. В Париж же она поехала в конце августа лишь для того, чтобы подыскать себе новое жилье, вдруг отказываясь жить в мансарде, как в прошлом году, предложенной ей родственниками в своем особнячке, который они населяли большим и, как дочь уверяла, буйным семейством. Решению Луизы жить совсем отдельно противостоять было невозможно, да и глупо, хотя для них с женой казалось очевидным, что заниматься поисками квартиры придется им самим. Дополнительные хлопоты. Дополнительные хлопоты, потерянное время. Брэйзиер планировал выкроить на это несколько дней в октябре, к тому времени надеясь окончательно утрясти дела в Люксембурге...

На миг вообразив себе саму сцену – как молодому портье, с достоинством новичка наблюдавшему за ним из-за стойки, пришлось записывать весь этот сумбур, переспрашивая на

каждом слове, а ко всему еще и выводить всё собственной рукой, чтобы его вознаградили за старания чаевыми, – Брэйзиер с трудом переборол на лице улыбку.

Мелких купюр при себе не нашлось. И он хотел было отложить чаевые на потом, но всё же вынул из кармана купюру в сто франков и протянул ее портье. Еще никогда, с тех пор как останавливался в этом отеле, он не расщедрился на такие чаевые.

– Что вы... Не нужно, – по-дилетантски смутился тот.

– Уговор дороже денег, – сказал Брэйзиер и, довольный своей шуткой, воткнул купюру под дно стоявшей на стойке вазы с цветами.

В номере Брэйзиер просмотрел газету, во второй раз за утро побрился, распахнул окна. Со дна уличного проезда в комнату ворвался городской шум. В мерный гул города он вслушивался с некоторой растерянностью, что-то взвешивая про себя. И вдруг он понял, что вся его былая убежденность в том, что шум города, суэта ему ненавистны, была ложной, надуманной.

Он чувствовал себя вполне городским человеком. И одна мысль о том, что он находится в центре одного из красивейших городов мира, один среди несметного количества незнакомых людей, окруженный чужими заботами и неисчислимым количеством чужих жизней, одна неожиданнее другой, вдруг приводила его в какое-то радостное волнение. Тут же, однако, осознав, что так с ним случается каждый раз – каждый раз в дороге его осеняют странноватые идеи, – Брэйзиер закрыл окна на балкон, заказал в номер чай, омлет с беконом, бутерброды. Он попросил накрыть столик на двоих. И пока суд да дело, сел за свой рабочий органайзер.

После нескольких телефонных звонков он спустился в холл, чтобы отправить факс в Люксембург. Отчего сразу же не поблагодарить за оказанный ему прием? А когда он вернулся в номер и горничная едва успела вкатить в номер тележку с завтраком, раздался быстрый стук в дверь.

– Открыто!

В номер влетела дочь:

– Папа! Ты получил мое послание?

С сияющим видом Брэйзиер поднялся:

– Наконец-то... Ну наконец-то! – Поймав дочь за голые плечи, он разглядывал ее в упор с таким видом, словно хотел убедиться, что не вышло опять какой-нибудь ошибки.

Луиза была в летнем платье с открытым верхом, улыбающаяся, свежая, опять повзрослевшая.

– У тебя одеколон какой-то женский... Как у моего соседа! – заметила дочь и, приложив ладонь ко рту, тихо засмеялась. – Только он – полная твоя противоположность... С косой ходит.

– С косой? Твой сосед? – Отец не понял, что дочь имеет в виду, но утвердительно кивал, довольный всем на свете. – Кстати, нашего изготовления... одеколон.., – добавил Брэйзиер. – Тебе что, не нравится?

– Твой собственный?

– Мы запустили пробный, в синем флаконе, разве не помнишь? Садись же, ну что ты топчешься... Я перекусить заказал. Ты не обедала, надеюсь?

– Как там, в Люксембурге? Всё утряс?

– Утряс.

Брэйзиер-младшая подошла к тележке с завтраком, сняла с тарелок белую салфетку, проверила начинку одного из бутербродов, приготовленных треугольниками, на английский манер, и, поморщившись, отложила его на тарелку:

– Я слышала, жулье со всей Европы ездит в Люксембург деньги прятать в банках... и что у них даже принц чем-то торгует, сувенирами или минеральной водой.

– Наверное так и есть..., – ответил отец, улыбаясь. – Луиза, пока вспомнил... Ты маме насчет будущих выходных звонила? Мы ведь тебя ждем. Ты помнишь, надеюсь, что твой брат...

- Нет, папа. Ну никак.
- То есть как – никак?.. Ты не приедешь?!
- Я же тебе объясняла...

Отец казался всерьез расстроенным. Но даже такая неприятность не могла омрачить радость, которую он испытывал, видя дочь цветущей, в очередной раз повзрослевшей, – это поражало его каждый раз, когда он не видел ее некоторое время. Удивляло Брэйзиера и то, что с возрастом дочь становилась всё больше похожей на мать.

– Мы, к сожалению, не сможем пообедать вместе, – сказал он. – У меня встреча здесь неподалеку. Но вечером...

Дочь поморщилась.

– Нет-нет, на вечер уважь, пожалуйста. Ну как тебе не стыдно?

– Так и быть, – закатив глаза к потолку, вздохнула она. – Только не в восемь. Позднее. Я, может быть, приду с одной знакомой, с Моной. Но ты ее не знаешь.

– Вот и познакомишь. Если хочешь, пойдем к этому... к писателю, – предложил Брэйзиер, имея в виду семейный ресторан, находившийся возле Пантеона, который принадлежал неудачливому литератору; в былые времена, когда им с женой приходилось бывать в Париже с детьми, существовал семейный обычай обедать в этом ресторане всем вместе. – А в воскресенье я в Гарн собираюсь. Прогуляемся к Пэ вместе? – спросил Брэйзиер, назвав своего шурина тем прозвищем, которое ему давно прилепила дочь.

– Ну вот... Опять ты всё расписал в своем блокноте! Как можно составлять программы, даже не поинтересовавшись, что, может быть, я занята, что у меня... А вдруг – работа? Да нас просто завалили – ты представить себе не можешь!

– Я уже договорился с ним. Он предложил заехать за нами утром..., – виновато объяснил отец. – Что делать, отменить?

– Ты заставил его тащиться сюда из Гарна? И он согласился? – удивилась Брэйзиер-младшая. – Да ты забыл, что такое Париж! Здесь ни пройти ни проехать. Столица мира!

– Пробки в воскресенье? – не поверил отец.

– Хорошо... В Гарн так Гарн, – сдалась Брэйзиер-младшая.

Наблюдая за тем, как дочь разливает чай, Брэйзиер не мог не заметить, что свои жесты она сопровождает той же мимикой, что и мать, – вздернув брови и взирая на столик сверху вниз, как бы с пренебрежением к этой тривиальной домашней обязанности. Что-то вдруг поразило в сопоставлении. Он тут же размяк и был готов исполнить любой дочерин каприз, если нужно – даже отказаться от всех своих планов на выходные.

* * *

Рассчитывая увидеться с Вертягиным в день приезда, Арсен Брэйзиер не ожидал, что в последнюю минуту шурина откажет от встречи под предлогом занятости.

Вертягин ответил у себя в офисе по прямой линии и попросил подождать со снятой трубкой. Доносились звуки другого телефонного разговора: Вертягин кого-то отчитывал. А когда он всё же спохватился – прошло уже минут десять, – то он даже не удосужился извиниться, лишь заявил, что его рвут с утра на части, и попросил перезвонить позднее.

Сетовать на невнимание? Брэйзиер отлично знал, что Вертягин не любит, когда ему докучают частными проблемами в рабочее время, а тем более в пятницу, в конце недели, в один из приемных дней кабинета, почему-то всегда перегруженный, – так бывает с теми, кто не умеет распланировать рабочую неделю. Но тон шурина всё же выбивал из колеи. Ведь Вертягин только что приехал из отпуска, проведенного под Каннами на его же, Брэйзиеру принадлежавшей, даче, и им еще даже не удалось переговорить на эту тему...

Позднее Вертягин перезвонил в гостиницу и извинился – день у него получился действительно суматошный. Он предлагал увидеться в воскресенье в Гарне и даже пообещал заехать в гостиницу на рю Дофин, чтобы забрать Брэйзиера к себе: с утра ему всё равно предстояло побывать в городе по своим делам, по завершении которых они могли уехать в Гарн вместе, как раз к обеду...

За годы отношения успели отстояться, но вместе с тем как бы выдохлись, подобно какой-то крепкой настойке, а то и уксусу. Преступать отведенным отношениям границы становилось как-то неприятно, несмотря на то, что вся родня, и дальняя и ближняя, за норму почитала приязнь, взаимность и обязательность, – как назвать это по-другому? Дистанция изобличала отношения в несостоятельности. Но сложившийся статус-кво обоим устраивал. Слишком многое их рознило – взгляды, образ жизни, само отношение к этой розни. А те незаурядные на первый взгляд параллели в их биографиях – ведь оба они по иронии судьбы имели в прошлом отношение к Англии и оба утратили с этой страной все связи, да еще и имели какое-то отношение к цветоводству, – это лишь придавало врожденным расхождениям нечто коренное, узаконенное самой природой.

Нерадивость русского шурина росла из той же почвы, что и высокомерие, родственное чванливости, как привык считать Брэйзиер, которое полнее всего характеризовало отношения покойного дипломата Вертягина, с родственниками жены – Крафтами. Всей многолетней подноготной родственных связей и размежеваний между сородичами Брэйзиер не знал и особенно не интересовался этой скучнейшей стороной их жизни, да и жена не любила распространяться на эту тему. Но нужно ли иметь семь пятей во лбу, чтобы постичь суть разногласий? Они уходили своими корнями в антагонизм, наверное неизбежный, который и свеженародившуюся имущую прослойку, и старую потомственную, заставляет жить вместе как кошка с собакой или, по крайней мере, держаться друга от друга на почтительном расстоянии. Так было всегда и во все времена. Нувориш не мог найти общего языка с аристократом.

Был ли Вертягин-старший голубых кровей? Не больше, чем Крафты. Но Вертягин не считал нужным скрывать свое презрение к коммерции, на доходы с которой жили Крафты, причем давно и неплохо. Вертягин-старший считал низменным род занятий, целью которого является «самообогащение», осуществляемое не путем «непосредственного» приумножения материальных благ, в поте лица, а посредством «купли-продажи», за счет эксплуатации чужого труда. Однажды он заявил об этом во всеулышание, чем и вызвал в семействе очередной раздор.

Жена, приходившаяся Петру Вертягину двоюродной сестрой – мать жены была одной из дочерей Крафта, полурусского немца, в сороковых годах сбежавшего из Германии во Францию, – старалась этот скрытый антагонизм игнорировать, но потугами своими лишь ворошила в Брэйзиере старые подозрения, давно в нем утихшие, насчет самих ее отношений с Вертягиным. Не было ли между ними раньше чего-то большего, чем закадычная дружба кузена с кузиной?.. Но даже привязанность Мари к Вертягину за годы прошла различные стадии. Вплоть до полного и многолетнего охлаждения. Причины Брэйзиеру, опять же, не были известны. Но ко времени наступления очередной оттепели, выпавшей на момент «выхода в свет» молодых отпрысков Брэйзиеров, Брэйзиер уже привык довольствоваться тем, что им с шурином отмерено от природы, и, видимо, не только в вопросах родственного взаимопонимания.

Находить общий язык стало легче, как всегда, по нужде. Приходилось обращаться к Вертягину за помощью. Производство парфюма в Тулоне было отлажено еще до того, как жена получила его в наследство. Весь хозяйственный и производственный механизм работал без перебоев. Но сбыт, как всегда, не оправдывал ожиданий. На голову валилось то одно, то другое. Услуги, оказываемые Вертягиным, иногда становились очень своевременными. Правда, в былые времена Вертягин расщедрился на более деятельное участие в трудностях родствен-

ников. Затем энтузиазм его поугас. На этой почве отношения и дали новую трещину. Однажды даже вышло неприятное объяснение по этому поводу.

Брэйзиер был уверен, что безразличие шурина к его проблемам выросло не на пустом месте. Давал о себе знать старый нарыв. В глубине души Вертягин всегда считал его белоручкой, человеком праздным, пришедшим на всё готовое. Такие, мол, плавают в масле незаслуженно. Довольно популярным языком всё это растолковала Брэйзиеру однажды его собственная жена. Однако всё ли в мире так просто?

По мере соприкосновения с буднями его, Брэйзиерова, бизнеса, Вертягину приходилось расставаться и с собственными иллюзиями. Имеет ли реальность что-то общее с идеалами? Не является ли адвокатский труд таким же, как и любой другой, немного танталовым, унылым? Ведь если посмотреть на всё через определенную призму, оказывается, что делать приходится всегда одно и то же.

Но главная беда, конечно, не в крушении идеалов. А в том, что, отдаваясь во власть своих личных ощущений, некоторые искренне полагают, что все остальные должны смотреть на вещи с той же колокольни, что и они. Идеалисту может наскучить ровно всё.

Таков был Вертягин. Нет, мол, ничего более расплывчатого, чем сам коммерческий кодекс! Не я, мол, его составлял. Зачем с меня спрашивать?

Однако «преступление и наказание» – это не те понятия, которым есть место в коммерции. Такими категориями здесь и не пахнет. Таков был взгляд Брэйзиера. Униженным и оскорбленным, ради которых нужно мчаться в суд, чтобы спасти несчастных от меча правосудия или от себя самих, в мире купли-продажи, в мире рынка, делать просто нечего. И именно такие амбиции – если верить тому, что о Вертягине рассказывала Мари – тот вынашивал в себе последнее время...

Не меньшие обиды у Брэйзиера вызывало и бездеятельное отношение Вертягина к парижской жизни дочери, которая только-только вступила на путь, что называется, самостоятельной жизни. Год назад, когда дочь надумала поступать на учебу в столице, сам же Вертягин навязался ей в опекуны. Он обещал с Луизой видаться, бывать у нее, помогать ей. Но пыл его и на этот раз быстро иссяк. Опекунство свелось к воскресным обедам у него за городом. Чаще всего он просто терял дочь из виду, она не виделась с ним неделями.

Когда в начале июня Луиза попала в больницу с острым аппендицитом и была прооперирована, после выписки из больницы, с недельной задержкой из-за осложнения, ей пришлось добираться домой на такси. Они с женой слепо положились на Вертягина. Но он не удосужился выкроить время даже на визит в больницу. Хотя уверял, что всё держит под контролем, что ежедневно созванивается с врачами. Каково было смотреть на это им, родителям?..

Вот и перед Рождеством вышло аналогичное недоразумение. Брэйзиер пытался дозвониться Вертягину, чтобы попросить о помощи с сыном. Поссорившись со своей девушкой, старший отпрыск болтался в Париже без дел и грозился вообще уехать куда подальше – в Нью-Йорк, «на вечное поселение». Сначала все думали, что он просто шутит. Сам Брэйзиер не мог отговорить сына от сумасбродства, давно не имел на детей какого-либо влияния, а потому опять понадеялся на Вертягина, который хоть как-то еще умел находить общий язык и с дочерью, и с сыном. Однако в ответ на заурядную просьбу вмешаться Вертягин едва не поднял его на смех. Шурин принялся бесцеремонно разжевывать ему, что даже в годы его бурной молодости в Северной Америке жилось не так-то плохо, советовал «не рвать на себе волосы», дать Николя жить своей жизнью, не ставить парню палки в колеса. Вертягин пообещал с сыном встретиться, поговорить. Но забыл, а то и просто махнул на просьбу рукой.

Жена, вставая на сторону кузена, уверяла, что у «Петра» – Мари называла Вертягина русским именем, тем самым подчеркивая, что по одной этой причине он заслуживает какого-то особого отношения к себе, – наступили трудные времена. Он будто бы не мог справиться с депрессией, с которой мучительно и втайне ото всех боролся после смерти отца. Депрессия

будто бы усугублялась неприятностями на работе. Где-то в Африке пропал его друг и компаньон, отправившийся в командировку...

Пока выяснялось, кто куда пропал, пропал и нерадивый отпрыск. Николя привел свою угрозу в исполнение, умотал в США. С этого дня Брэйзиеры больше не знали ни дня покоя. Сын поселился в Нью-Йорке, гонял на машине через всю Америку, собирался «переселиться» то в Калифорнию, то в Майами и попросту извел своими приключениями: то долги, то очередная девушка, то дорожные правонарушения, однако о возвращении во Францию отказывался и думать.

Неприятности, постигшие Николя, собственно, и были главной причиной, побудившей Брэйзиера дозваниваться Вертягину в дни своей парижской побывки, хотя по телефону он не сказал об этом однозначно ясно – не хотел настраивать против себя. Брэйзиер был уверен, что Вертягин может «удружить» им с женой своими нью-йоркскими связями. Шурина ничего не стоило обратиться к адвокату Лоренсу, корреспонденту его конторы в США. Брэйзиер давно считал, что Лоренс идеальный кандидат на роль негласного попечителя над сыном. Под предлогом передачи денег – блудный сын постоянно нуждался – Лоренс мог бы с Николя общаться и таким образом держать их с женой в курсе происходящего. Он попросту мог бы присматривать за развитием событий. И непутевая жизнь неслуха была бы как на ладони. К этому и сводились ожидания Брэйзиера. Впрочем, он и сам не знал, чего хочет ото всех добиться. Элементарного сочувствия, участия...

Жена считала, что он «допек своей опекой» не только детей. Теперь перепало даже знакомым. Обращение к Вертягину за непонятными услугами отдавало бесцеремонностью. Так ей казалось. Как будто Вертягину больше нечем заниматься! Ведь с тем же успехом Брэйзиер мог воспользоваться собственными связями. Когда речь заходила о каких-нибудь торговых комбинациях, папахивающих долларовыми прибылями, он прекрасно обходился без посторонней помощи. Что мешало Брэйзиерам обратиться к Лоренсу напрямую? Ведь Мари поддерживала с ним личные отношения еще со времен его парижской молодости, с тех пор, когда вместе с Петром оба они учились на одном юридическом факультете. Лоренс почти ежегодно проводил отпуск во Франции. На пару дней они с женой всегда останавливались в Тулоне. Мари считала, что муж должен съездить к сыну сам, если уж действительно думает, что не должен сидеть сложа руки...

В начале осени о такой поездке не могло быть и речи. Затеянные новшества и отчасти этим вызванная неопределенность в заказах на первый квартал, запуск нового дела в Люксембурге, что требовало не только переоснащения производственной лаборатории в Тулоне, но и продажи убыточной плантации жасмина под Грассом, да и само производство, после недавнего увольнения прежнего управляющего требующее присмотра, – до конца года Брэйзиер и помышлять не мог ни о какой поездке в Америку. В чем-то была права и жена, утверждавшая, что поездка в Нью-Йорк вряд ли что-нибудь изменит кардинальным образом. Опасаясь еще и ссоры с сыном, Брэйзиер склонялся к мерам менее радикальным, но более долгосрочным. Разум брал верх волей-неволей...

Кроме возможности обратиться к Лоренсу за помощью, Брэйзиер собирался обсудить с шурином и другой вопрос. После Люксембурга он нуждался в срочной консультации. В коммерческом праве стран Бенилюкса – оно везде более-менее одинаковое – Вертягин разбирался не хуже компаньонов. Однако практический опыт в таких вопросах полезнее, чем все теории. Поэтому Брэйзиер рассчитывал получить консультацию у одного из сотрудников его кабинета, который однажды уже выручал его в аналогичной ситуации.

* * *

Накинув на плечи свитер, Петр вынес поднос с кофейником на террасу и сел завтракать на улице. Наблюдая за переменчивым с утра и низким небосклоном, он не переставал тешить себя надеждой, что облачность и серость не продержатся всё воскресенье, но уже понимал, что ожидания могут не оправдаться.

С раннего утра на улице стояла сырость. Воздух наполняли затхлые миазмы, приносимые из-за поля. Ночной туман продолжал застилать луга. У нижней ограды остатки белой мути лохмотьями висели над газонами. А дальше, в поле всё было затянуто и вовсе непроглядной бледно-фиолетовой мглой...

С вечера он планировал провести утро в Париже. Густав Калленборн наметил у себя дома завтрак, на который пригласил сотрудника мюнхенской адвокатской конторы, находившегося проездом в Париже. После встречи у Калленборна Петр думал заехать в гостиницу на рю Дофин, чтобы забрать Брэйзиера к себе. Но план, как всегда, изменилась в последний момент. В начале десятого Калленборн позвонил в Гарн и завтрак отменил: накануне вечером немецкий «коллега» внезапно отбыл в Мюнхен. Ехать в город было незачем. Петр позвонил Брэйзиеру и попросил его добираться в Гарн своим ходом...

После одиннадцати над холмами всё же просветлело. Стена тумана вдруг расступилась. Справа над полями высокой волной, словно наплывающее цунами, вырос черно-фиолетовый лесной склон. Над самой кромкой горизонта сразу забрезжило. И в следующий миг весь небосвод засветился от бледного стеаринового зарева. Газоны, розарий и особенно кусты по правой стороне блекло переливались. Переполненный влагой и всё еще неподвижный, неживой воздух слегка дрожал от серебряного блеска.

Около двенадцати Петр всё еще просматривал на террасе газеты, когда из-за дома донесся стук уличной калитки. Брэйзиер прикатил на полчаса раньше?

Засунув очки в карман, Петр встал и зашагал к воротам. На дорожке от калитки действительно показался Брэйзиер.

– Прошу принимать гостей... Бог ты мой, Питер, сколько же мы не виделись?! – Брэйзиер на ходу раскрыл объятия.

– Сто лет, по-моему... Быстро добрался?

– Стрелой... Эти поля, перелески... Скажите, пожалуйста! Как всё изменилось... – Брэйзиер с интересом озирался по сторонам. – А погода! Куда ни приеду – полощет, слякоть. Такое чувство, что за собой всё это вожу. А здесь – солнце.

– В Люксембурге тоже дождь?

– Там всегда дождь. Как они там живут круглый год, не понимаю...

В твидовом пиджаке, в белой рубашке, с заправленным за ворот узорчатым шейным платком, с длинным зонтом в руках, Брэйзиер выглядел, как всегда, младше своих лет. Его здоровое свежее лицо вдруг выражало озадаченность чем-то.

Развернувшись к улице, Брэйзиер, на удивление Петра, окликнул дочь:

– Луиза! Ну куда ты пропала?!

– Вместе, что ли, приехали?... Я утром звонил ей. Хотел как раз предложить ей приехать с тобой. Никого не застал.

– Уже здороваться с кем-то помчалась... – фальшивым тоном посетовал Брэйзиер.

Петр хотел было идти к калитке за племянницей, но она оказалась на аллее. С развевающимися полами красного блестящего дождевика, что-то пряча за спиной, Луиза вприпрыжку неслась к калитке от соседей.

– Здравсте-здравсте, Пэ! А мы приехали проверить, как вы тут? Всё с розами возитесь?

– Куда же пропала, Луиза? Сколько раз тебе звонил.., – проговорил Петр тоном упрёка и в тот же миг слегка опешил.

В лице племянницы, в ее светлых волосах, гладко убранных в небольшой пучок, пора- жало что-то родное, свежее, а вместе с тем в ее облике появилось что-то новое и незнакомое. Он не видел племянницу с июня, с того дня, как позвал ее ужинать в Сан-Мандэ, в рыбный ресторан, находившийся неподалеку от ее родственников, у которых она жила. Это было как раз накануне ее отъезда в Тулон на лето.

– Ты так изменилась, Луиза. Узнать невозможно! Почему ты перестала приезжать?

– Папа настолько отвык от этой клоаки, от Парижа, что приходится водить его по гостям, как маленького, за ручку.., – не отвечая на вопрос, протараторила Брэйзиер-младшая, глядя прямо перед собой насмешливыми серыми глазами.

– Ты тоже стал похож на кого-то, – усмехнулся Петр, переведя взгляд на Брэйзиера. – Постой, сейчас вспомню, на кого.

– На маму! – подсказала племянница.

– Действительно... На Мари, – согласился Петр, удивляясь верности сопоставления.

– Правду говорят, – закивал Брэйзиер. – Когда люди долго живут вместе, они становятся похожи друг на друга.

Петр подставил племяннице щеку. Сильно жмурясь, Брэйзиер-младшая одними щеками, по-женски выставив губы, прильнула к его щетине все четыре раза, как обычно делали все родственники.

– А ящичек мы что, в такси забыли, Луиза?! – спохватился Брэйзиер.

Смерив отца и дядю испытующим взором, Луиза вынула из-за спины лакированный дере- вынный футляр и протянула его Петру со словами:

– С вас причитается, Пэ... С тебя, папа, тоже. Ты стал таким рассеянным, это просто невыносимо...

Петр открыл красивый футляр. В нем лежал садовый секатор со множеством никелиро- ванных приставок, изящно разложенных по обшитым зеленым бархатом углублениям.

– Надо же... Вещь! – похвалил он. – Только зачем было, Арсен?

– Рад... рад, что нравится. Я же ничего в этом не смыслю... Ручка наращивается, если тебе захочется удлинить ее... – Брэйзиер благодарно улыбался. – Мне сказали, что лучше не найдешь. Удалось выкроить час на магазины... в Люксембурге.

– Спасибо, я очень тронут, – поблагодарил Петр. – Я, кстати, испортил у тебя один сека- тор... в доме. Вернее, Марта.

– Она дома?

– Нет, в отъезде, – помедлив, ответил Петр и почему-то кивнул на входную дверь.

– Марта уехала?... И ничего мне не сказала? – удивилась Луиза. – Опять в Австрию, что ли?

– Нет, не в Австрию...

– А мы этим летом даже отдохнуть как следует не успели, – сказал Брэйзиер. – Под Кан- нами дикая жара стояла... Ты мне скажи... – спохватился он, – ведь вы попали в самое пекло?! Как вы там выдержали?

– Сам не знаю. Было невыносимо, – признался Петр.

– Вот видишь... Устроил я вам каникулы. А мы махнули на всё рукой и решили в Швей- царии поехать... на неделю.

Петр распахнул дверь, впустил гостей в прохладную прихожую. Пройдя через коридор и светлую гостиную с красовавшимся в центре круглого стола большим букетом разноцветных роз, все трое вышли в сад с тыльной стороны дома.

Не сходя с террасы на траву, Брэйзиер с оживлением разглядывал кусты роз, на одном из которых виднелось несколько пышных, от увядания уже растрепанных бутонов нежного лилового оттенка. Другие кусты, левее, были подрезаны совсем недавно.

– Времени зря не теряешь, как вижу, – заметил Брэйзиер, не без интереса озираясь по сторонам. – Сам? Или кто-то помогает?

– Нет, не сам, конечно... Садовник приходит.

– Эта, по-моему, чайная? – Брэйзиер показал на куст роз с крупными лиловыми бутонами.

– Провансальская.

– Сам выводил?

– В каком-то смысле...

– Прямо из семян? – удивился Брэйзиер.

– Нет, это гибрид. – Чему-то усмехнувшись, Петр перевел взгляд на Луизу. – Из семян такой куст не вырастишь.

– На меня-то вы почему смотрите? – спросила Брэйзиер-младшая.

– Луиза! Ну разве можно так разговаривать со взрослым человеком? – упрекнул отец. – Если не из семян, то как же? Искусственным путем?

– Гибриды стерильны. Природа отказывается плодить естественным образом то, что человек вывел искусственно, – объяснил Петр. – И правильно делает. Разве не гениально?

Сделав шаг на траву, Брэйзиер продолжал теперь уже с недоумением глазеть по сторонам.

– Эти кусты – тоже. – Петр показал на менее высокие, аккуратно подстриженные кусты. – «Пенелопка» ее называют... Уже отцвела.

– Также гибрид?

– Да, мускусный. Неплохо цвела, весь июнь простояла. Но мы перестригли... В прошлом году так хорошо все кусты начали расти, что хорошая подрезка казалась необходимой, – объяснил Петр. – Но старик, садовник мой, переборщил.

– У меня с одним из цветоводов уже второй год нервотрепка... под Грассом, – подхватил Брэйзиер тему. – Втемяшил себе в голову, что готовый лепесток нужно собирать ночью. По ночам, представляешь?! Говорят, что розы ночью более пахучи.

– Он прав. Есть, конечно, разные сорта.

– А ты представляешь, во что это может влететь?

– Ночной сбор?

– Я махнул рукой... Раньше за один килограмм эликсира давали по двадцать тысяч франков... от хорошей розы. А теперь проще закупать. В Индии, в Египте... Кстати, пока не забыл, я всё собирался привезти тебе один саженец... Как же она называется, никак не могу запомнить.

– Сантифолия! – подсказала дочь.

– Вот-вот. Знаешь, может быть?

– Слышал, но не видел.

– Розоватые цветы, с сиреневым оттенком. В какой период года их приходится сажать... розы? – спросил Брэйзиер.

– Саженцы? До декабря. Да и в декабре не поздно.

– В следующий раз привезу. Обязательно!

– Арсен, я предлагаю поговорить... – предложил Петр. – А обедать поедем в аббатство. Я ничего не готовил. – Он имел в виду ресторан, находившийся в нескольких километрах от Гарна, в который он уже не раз возил и Брэйзиера, и племянницу.

– Воля хозяина, – улыбался тот. – Прежде всего, я вот что хотел у тебя спросить... Как у тебя с Лоренсом?

– Он тебе нужен?

– Ты ведь знаешь, что мой балбес по-прежнему в Нью-Йорке околачивается.

– Я думал, в Калифорнии.

– Нет, в Нью-Йорке. Так вот...

– Папа, опять ты со своими заботами! – встряла в разговор Брэйзиер-младшая. – У него всё в порядке! Проживет как-нибудь без тебя...

– Прошу тебя, дочь! – взмолился отец, состроив несчастную гримасу.

Луиза ушла в дом, то ли досадуя на отца за невыполненное обещание (в такси он дал слово не донимать Вертягина этой темой), то ли не желая участвовать в неинтересном разговоре.

Петр предложил пройтись, и они двинулись вниз по тропе. Приблизившись к далиям, оба остановились, и Брэйзиер принялся объяснять суть своей просьбы.

В прямоте Брэйзиера, да и в самой настойчивости его просьбы, довольно нелепой, Петр сразу уловил скрытый упрек в свой адрес, что-то старое и недосказанное. Чтобы не сыпать соль на старые раны, он предпочел с ходу, без дополнительных уговоров, взять на себя все хлопоты. Он пообещал в тот же вечер позвонить Лоренсу. Хотя в действительности намеревался звонить самому Николаю, чтобы получше уяснить себе, чем вызван очередной переполох родителей и чего от него все ждут.

Луиза тем временем выносила посуду под навес. Давно изучив гарнские обычаи, она приготовила «предобеденный» кофе. Привычка Петра пить кофе перед обедом давно стала поводом для насмешек...

Когда все трое расселись вокруг деревянного стола в беседке, Брэйзиер, вдруг повеселев, заговорил о своих люксембургских начинаниях. Большая часть проблем казалась ему на сегодня разрешенной. Оставалась последняя неясность. Из-за этого и пришлось повременить с подписанием документов. Он нуждался в дельном совете. Ликвидация ранее зарегистрированного в Люксембурге юридического лица, через которое проводились сделки по сбыту тулонской продукции в Англию и в Данию, давно стояла в плане, но теперь время поджимало. Брэйзиер не совсем понимал схему, по которой лучше всего осуществлять эту ликвидацию, чтобы передача торговой марки другому юрлицу не могла стать впоследствии предметом спора или тяжбы. Ведь именно по данной торговой марке заключались основные договора на сегодняшний день. И именно эта торговая марка могла стать камнем преткновения в другом споре, только что заявившем о себе в Париже. Брэйзиеру стало известно о срыве нескольких прошлогодних сделок. Виной всему был парижский партнер, выполнявший роль посредника и получавший за это приличные роялти. Воспользовавшись доверием Брэйзиера, посредник умудрился с выгодой для себя устроить собственные дела, а сделки, лично ему не сулившие желаемой выгоды, просто-напросто завалил. Брэйзиер был уверен, что контракты, подписанные по сорванным сделкам, еще и позволяют ему рассчитывать на компенсацию понесенных убытков...

В просторном зале ресторана, куда они приехали час спустя, оказалось безлюдно и тихо. Все трое заказали одни и те же блюда – устрицы, дикую утку с яблоками, на десерт грушевый пирог. Приходя во всё более радужное настроение от хорошей кухни, Брэйзиер принялся рассказывать о своей летней поездке в Англию, о недельном отпуске, проведенном с женой в Швейцарии, о своем тулонском «прозябании», на что вообще любил посетовать, когда мог позволить себе расслабиться. Послушать его – и его тулонское существование напоминало пустоватую жизнь холостяка, а не главы семейства или предпринимателя. Своим тоном Брэйзиер немного озадачивал. Когда же он заговорил о намерении дочери переехать от родственников в отдельную квартиру и о поисках нового жилья, Петр сразу предложил свою помощь. Его гарнская соседка, профессиональный риелтор, явно могла им посодействовать.

А затем, словно очнувшись, Петр принялся расспрашивать племянницу о новом учебном семестре, о пролетевших каникулах. Как замороженный, он внимал каждому ее слову, не сводил с нее глаз, но думал о чем-то своем.

Брэйзиер пожелал оплатить счет, наотрез отказывался быть «приглашенным». Немного позднее, после короткой прогулки по лесной аллее, которая прямо перед рестораном углублялась в лесную чащу, он решил возвращаться с дочерью в город, в Гарн уже не заезжая.

Все трое вернулись в ресторан. Брэйзиер попросил официанта вызвать такси и напоследок заказал для всех по чашке кофе...

* * *

Приезд племянницы в Гарн в следующую субботу оказался для Петра неожиданностью. В минувшее воскресенье, когда Луиза приезжала с отцом, они договорились, что она позвонит ему в Версаль, чтобы они решили вместе, о какой именно помощи, о поисках какой именно квартиры просить соседку. Но Луиза, как всегда, не позвонила, пропала на всю неделю. Петр не переставал звонить в Сен-Мандэ к родственникам Брэйзиеров, у которых она жила. Но там тоже не знали, где она и как ей дозвониться. К удивлению Петра, родственники не проявляли особого беспокойства по этому поводу, привыкли...

В субботу первую половину дня Петр провел в городе. Вернувшись в Гарн к двум часам, он сел за бумаги, которые обещал просмотреть к понедельнику. Но не высидел и четверти часа.

Он вышел в сад, прогулялся по розарию. Вернувшись наверх, он размял колени и, расположившись под навесом, принялся разбирать выведенные с весны побеги роз, которые планировал посадить осенью. Оставлять переборку побегов на воскресенье не хотелось. Однако планы были явно наполеоновские. Целого дня бы не хватило на всё то, что он наметил на выходные. Какой смысл затевать возню теперь? К шести часам всё соседское окружение было приглашено к Сильвестрам. Они собирались праздновать двадцатилетие совместной жизни. Приготовления к вечеринке отняли у соседей столько сил, времени и средств, предвиделся такой размах празднеств, что не пойти к ним было невозможно. Заодно Сильвестр намеревался поднять в жене тонус после недавно перенесенных ею встрясок. В конце лета скончалась ее мать, а в начале сентября сама она пострадала от ДТП: попыталась объехать на скорости собаку, перебежавшую через проезжую часть, и вылетела в кювет. Только что купленный «опель» оказался разбит дребезги, и несмотря на то, что Женни Сильвестр удалось обойтись без единой царапины, по слухам, доходившим до Петра через других соседей, Сильвестр был всерьез обеспокоен здоровьем жены – уже которую неделю она пребывала на грани депрессии...

Еще не было пяти, когда с уличной аллеи стал доноситься шум подъезжавших машин, детские голоса, лай собак. С минуты на минуту Петр ждал звонка в свои ворота. Он пообещал быть четвертым, недостающим игроком в партии крикета, которую Сильвестр намечал в своем дворе до того, как гости начнут съезжаться, не пожелав пожертвовать этой субботней традицией даже в такой день.

В гостиной зазвонил телефон.

Петр медлил. Он был уверен, что звонят от соседей. Стоило ли отвечать? В следующий миг он всё же прошагал к телефону и снял трубку.

– Это вы, Пэ? Здравсти! Как хорошо, что вы дома. Бывает же везение! – в трубку тараторила Брэйзиер-младшая.

– Куда ты пропала, Луиза? Я обзвонился! Тебе передавали?

– Нет, никто ничего не передавал.

– Как? Почему?

– Ну откуда я могу знать – почему? Не доложили.

– Да я с ног сбился! С прошлого понедельника звоню тебе... – Сквозь тон упрёка в голосе Петра прорывалось воодушевление. – Ведь мы договаривались... насчет квартиры. Мне пообещали.

– Пэ, какой вы... какой вы классный дядя! И вообще... Вы только не обижайтесь и не расстраивайтесь. Но с квартирой всё улажено, – упавшим тоном предупредила Луиза. – Я почти переехала.

– Ты нашла квартиру? – Петр был и изумлен и разочарован. – Всё ясно. Где? В каком районе?

– Аллезия... Там есть такая крохотная улица... Да вы всё равно не знаете.

– А мне предложили рядом с Булонским лесом. И недорого. Может, подумаешь еще?.. Что нам стоит съездить посмотреть? Я могу договориться хоть на завтра.

– Нет, Пэ. Уже решено. И вообще, знали бы вы, как мне осточертело ездить, осматривать. Я же не на всю жизнь переезжаю. Вы только не обижайтесь. Там потрясающе! Всё новое, чистое! Без мебели. Без ничего. То, что надо. Ну я вам потом всё расскажу! Вы знаете, откуда я звоню?

Он развел руками и вздохнул.

– Сажусь в поезд и через двадцать минут у вас. Если вы с Мартой, конечно... Она вернулась?

– Буду рад. Буду очень рад тебе. А Марты нет, – бормотал он. – Я один.

– Вы приедете на вокзал? Или своим ходом добираться?

– Приеду. Сразу же выезжаю.

– Нет, сразу не нужно. Поезд только через полчаса. Тут, кстати, одна проблема... Я не одна. – Брэйзиер-младшая на миг замешкалась, а затем другим тоном осведомилась: – Пэ, я не помню, сколько у вас в подвале велосипедов?

– Велосипедов? А сколько нужно?

– Ладно, разберемся... Так вы приедете?

Догадываясь, что речь идет об очередном поклоннике, Петр воздержался от расспросов. Племянница редко приезжала в Гарн одна. Бойфренды частенько менялись. Но он всегда с покорностью стелил племяннице на ночь в отдельной спальне, с кем бы она ни приезжала, ни о чем не расспрашивал и старался проявлять максимум такта.

– Луиза, когда ты... когда вы будете на вокзале, – сказал он, – если меня еще не будет, подождите на выходе, договорились? Сбоку возле стоянки, ты помнишь?

– О. К., сбоку... Пэ, я вам хотела сказать... – Племянница медлила.

– Что, Луиза?

– Вы такой вообще... Мне хочется сказать вам что-нибудь приятное.

– Спасибо. Когда приедешь, скажешь. Я буду очень рад, – заверил Петр, чувствуя, как в груди у него что-то тает от услышанного признания.

– Когда приеду, будет уже не то, – сказала Луиза. – Ну ладно, что же делать.

Положив трубку, Петр некоторое время стоял посреди комнаты в раздумье. Он вдруг не знал, как быть с Сильвестрами. Гарнское окружение Луизу жаловало. Соседские дети с ней дружили, те, что помладше, от любви к ней всегда висели у нее на шее. Приезд племянницы с незнакомцем не был достаточно серьезным поводом, чтобы отказаться от приглашения на вечер.

В следующий миг, устыдившись своих мыслей, Петр поднялся к гардеробной нише.

* * *

Вырулив на стоянку, Петр развернул машину капотом к выезду, выключил зажигание и на лестнице, ведущей к клумбе, увидел племянницу.

Как он и попросил, она дожидалась перед боковым выходом с вокзала, но была не с одним, а, к удивлению, с двумя кавалерами. Двое рослых парней переминались с ноги на ногу пообок от племянницы. Оба испытующе смотрели в сторону его «БМВ».

Петр подал племяннице знак. Она ответила невнятным, наэлектризованным жестом, но так и не тронулась с места. И он зашагал навстречу, по мере приближения замечая в Луизе какую-то перемену.

Очередной налет отчуждения бросался в глаза не только из-за неожиданного наряда. На Луизе было летнее бежевое платье с белым воланом, каких она никогда доселе не носила. Не в счет была и ее неожиданная прическа – выгоревшие за лето локоны, обычно собранные в хвост или в подобие пучка, лежали распущенными на плечах. Какая-то новая уверенность в себе и новая решительность появилась в самой манере держать себя, чувствовалась в прямоте взгляда, в самом силуэте.

Оба парня встретили его застывшими оскалами, какой бывает на лице у людей, которые отдают себе отчет, что их есть за что упрекнуть, но при этом знают, что отдуваться по-настоящему им не придется.

– Ну вот, знакомьтесь... Это – Пэ.

На свежем лице племянницы заиграла виноватая улыбка.

– Меня зовут Пэ, – подтвердил Петр. – Очень приятно.

Один из парней, в черном блейзере и в джинсах, протянул ему худую пятерню и представился Робером: худошавый, с бледным от переутомления, но правильным, еще юношеским лицом, он был одних лет с Луизой.

– А я Томас МакКлоуз! – обнажая ряд ровных белых зубов, отрекомендовался другой.

– Какой еще Клоуз? – осадила племянница. – Тимми!

Малый в джинсовой куртке и в кепи был рослым, курносым, он выглядел старше племянницы года на четыре. Ясные голубые глаза и что-то нетипично породистое в лице выдавали иностранца. Эффект усиливался за счет короткой стрижки с подбритым затылком. В тот же миг Петр догадался, что это тот самый американец, который, по рассказам Луизы, учился с ней на параллельном факультете.

– Ну что, в путь-дорогу? – ободряюще предложил Петр.

Взяв из рук племянницы дамский рюкзачок, он направился к машине. Распахнув дверцы, он предложил рассаживаться, кому где нравится.

Луиза усадила парней на заднее сиденье, а сама села по привычке впереди.

Главная улица городка оказалась запружена машинами. Петр повернул на одну из боковых улиц, уводившую вправо, но за первым же перекрестком они попали в еще более медленный поток машин, и он предпочел вернуться назад. А затем, чтобы развеять чем-то гробовое молчание, он включил радио, и тесное пространство машины наполнилось уютной болтовней диктора. Передавали сводку последних известий, погоды на выходные.

Луиза оживленно разглядывала улицы, провожала взглядом крепость на горе, дома с черепичной кровлей, синеющие по обочинам волны цветущей лаванды и самих прохожих, кто в шортах, кто с рюкзаком. По выезде из поселка, когда позади остался огороженный луг, на котором паслись две рыжие лошадки, а по сторонам гладкой, укачивающей дороги поплыли поля, обрамленные там и сям рощами с серебрищейся на ветру листвой, Луиза вдруг решила сделать короткий экскурс в историю околотка.

Показывая свернутой газетой по сторонам, она объясняла, что «угодя», через которые они проезжают, некогда принадлежали знатному вельможе и что как раз отсюда начинался лес Рамбуйе. В том, что племянница питает к Гарну и его окрестностям привязанность, для Петра не было ничего нового. Но ее бурная реакция на всё то, к чему и сам он не мог никогда оставаться равнодушным, наполняла его радостным возбуждением.

– Надолго Марта уехала? – спросила Луиза после короткой передышки.

– Нет, ненадолго... – Поймав на себе продолжительный взгляд племянницы, Петр вдруг озабоченно спохватился и спросил: – Ты отцу звонила? Он искал тебя, и я опять не знал, что ему сказать.

– Вы не волнуйтесь. Он всегда кого-то ищет.

– Ведь опять все шишки на меня повалятся, – сказал Петр с упреком.

– Как только приедем, я сразу же позвоню, скажу, что была у подруги.

Петр смерил профиль племянницы продолжительным взглядом. Та ответила утомленно-извиняющейся гримасой, вдруг очень похожая на свою мать. И тема была закрыта.

Шоссе стало подниматься в гору. На холме вираж оказался настолько крутым, что передние колеса слегка завизжали.

– Вы на пятой, – заметил худощавый в блейзере.

Сменив скорость, Петр продолжал краем глаза следить за племянницей, а заодно, пользуясь тем, что Луиза, распахнув газету, стала зачитывать вслух отрывок из какой-то статьи, чтобы прокомментировать новости, услышанные по радио, в зеркало заднего вида он пытался разглядеть и своих молчаливых путников.

Оба в черных очках, с искаженными в зеркале лицами и симметрично уставившиеся каждый в свою сторону, они чем-то поразительно походили друг на друга.

– Пэ, надеюсь, мы не очень нарушили ваши планы? – спросила племянница.

– У меня не было никаких планов. Завтра с утра, правда, придется отлучиться. А так я в вашем распоряжении, – добродушно ответил Петр.

– Завтра к обеду нам надо быть в городе.

– В воскресенье?! Почему так быстро?

– К обеду, – поддакнул американец с заднего сиденья, словно лишь для того, чтобы произнести что-нибудь по-французски.

– Получается, всего на ночь? Очень жаль.

– Ну вот, не успели приехать, а вы уже жалуетесь. По-другому не получается, что же делать? – Луиза откинула волосы за плечи и, развернувшись к заднему сиденью, проговорила: – В следующий раз приедем на все выходные – согласны, компания?

– Завтра мы должны помочь ей перетащить барахло в новые пенаты, – объяснил худощавый в черном блейзере тоном безразличия.

– Ты завтра переезжаешь? – не переставал удивляться Петр. – Я не могу чем-то помочь?

– А тебя чем-то не устраивают мои пенаты? – Луиза воинственно развернулась к Роберу.

– Я бы в таких не поселился. Стул негде поставить, не то что лечь, передохнуть... – Физиономию Робера исказил непонятный оскал.

Луиза, улыбаясь, закачала головой. Робер намекал на что-то такое, что не могло не вызывать у обоих смеха.

– Что, так тесно? – спросил Петр. – Женни Сильвестр предлагает совершенно приличное жилище на улице Лонгшан.

– Да вы слушайте его побольше, Пэ! Мелет сам не знает что! – сказала Луиза. – Робер, у тебя опять пониженное давление?

– Всё у меня нормально... Я же успел выпить рюмку кальвадоса... перед поездом, – просиял тот чистосердечной улыбкой юноши.

– Сколько тебе можно объяснять, что кальвадос не повышает давление! – попрекнула Луиза. – А вот мозги набекрень от него запросто могут съехать.

– Пэ, как у вас насчет курения в автомобиле? – спросил американец.

– Курите, раз хочется, – сказал Петр, поймав в отражатель взгляд американца.

Они выехали к перекрестку с шеренгой высоких, раскачивающихся тополей, миновали последний отрезок дороги вдоль поля и свернули на аллею, которая углублялась в поселок. По сторонам потянулись зеленые ограды. Впереди в глаза бросалось необычное скопление машин. Часть машин была запаркована вплотную, одна к одной, перед воротами Сильвестров, но остальные, брошенные беспорядочно, преграждали проезжую часть.

– Это к кому такая очередь? – спросила Луиза.

– У Сильвестров юбилей сегодня. Я, кстати, не знаю, как нам быть, – сказал Петр. – Я, в общем-то, обещал.

– Даже разговоров быть не может! Вы из-за нас, что ли? Раз обещали – нужно идти! – заверила племянница. – А этим лбам мы найдем занятие. Тимми будет дрова колоть – он большой любитель тренировок. А Робер... Робер, ты ямы умеешь копать?

– Если не умеет, научим, – поддержал американец на безукоризненном французском языке и, схватив себя за колени, разразился резким хохотом.

Появиться у соседей всем вместе было действительно невозможно. Петр был в затруднении. Но не успел он завести гостей в дом, как в калитку позвонили, и, выйдя к воротам, он увидел Женни Сильвестр. С ее приходом всё решилось само собой.

Подпоясанная кухонным передником, который поверх выходного костюма от Шанель выглядел скорее вызывающе, накрашенная и в испарине, она попросила одолжить ей на вечер стаканы для вина, все, какие у него имелись; часть своей посуды, бокалы и два графина, она только что разбила, не донеся поднос до столов.

Они прошли в дом. Соседка и племянница прильнули друг к другу щеками. Дав Луизе возможность блеснуть перед соседкой «однокурсниками» – Луиза принялась с пылом всех знакомить, – Петр вышел в столовую, через некоторое время вернулся с полным подносом простых, на тонкой ножке, бокалов для вина, поставил поднос на стол и сказал:

– Я сам принесу... Разберусь здесь и приду.

– Да, все уже съезжаются, – поторопила Сильвестр. – Вы не задерживайтесь.

– Как мы решим, Луиза? – Петр перевел взгляд на племянницу, предлагая ей принять самостоятельное решение.

– Ах, вот ты о чем..., – спохватилась Сильвестр, догадавшись о причине уклончивого ответа. – Мы вас ждем, всех вместе! Луиза, ну как так можно?! Не стыдно тебе? Мы что, чужие?

Американец не мог появиться на людях в затрапезной джинсовой куртке и в кепи. Однако на затею Луизы с переодеванием Петр смотрел скептически. По ее просьбе он всё же сходил за галстуками, а затем, с недоверием наблюдая за сборами и раздумывая о чем-то своем, бродил как неприкаянный по дому.

– Только, пожалуйста, прекрати поглощать витамины горстями! У тебя же диатез будет! – повелевала Луиза американцем.

Тот и не думал обижаться. Выставляя напоказ свои ровные, белые зубы, молодой американец пытался что-то быстро прожевать. И как только ему удалось это сделать, спросил Петра на правильном, но не очень понятном французском языке:

– Господин Питер, у вас нет чего-нибудь такого... Чего-нибудь питьевого. Стакана воды, если быть точным...

– Кока-колы? На кухне была где-то бутылка.

Луиза поднесла ладонь ко рту и затряслась немимым смехом. Робер, всадив кулаки в карманы брюк, тоже в открытую ухмылялся.

– Вы меня, по-моему, за кого-то другого принимаете, – сказал американец. – Я не из той Америки родом и уже пять лет как живу в Европе.

– Понимаю, – кивнул Петр. – Тогда чего вам дать, минеральной воды?

– Робер, принеси ему «швэппс» из холодильника! – приказала Луиза. – А ты давай-ка, попробуй, попробуй галстуки! Не умрешь за пять минут от жажды.

Чтобы ускорить процедуру, Луиза подступилась к американцу вплотную и поднесла к его горлу галстук с мелким кофейным рисунком.

– Нет, этот не годится, – заключила она. – Красный с узорами еще хуже – в глазах рябит. Давай-ка вот этот попробуем. Только сними, ради бога, свой чепчик! Ну что ты как маленький? Тебе сколько лет?

Охотно повинувшись, американец смахнул с головы кепи и обнажил коротко остриженную, желтую, как сено, челку.

– Нет, без пиджака у тебя вид голкипера из студенческой сборной, – сказала Луиза. – Пэ, у вас, по-моему, одинаковый размер.

– Мой пиджак на него не налезет, – усомнился Петр, озирая гостя как нечто неодушевленное. – В плечах будет маловат.

– Ничего. Потерпит.

Петр отправился наверх за пиджаками...

Через четверть часа все четверо, уже при параде, стояли перед калиткой и обменивались вопросительными взорами. Американец и Робер дожидались от Луизы очередной команды.

Петр держал в руках ящик с вином – о настоящем подарке, увы, не позаботился, и ничего лучшего, чем вино, наспех всё равно было бы не придумать, – а в придачу к бутылкам нарезанный в саду, пышный букет роз. Бледно-желтые, с сиреневыми оплывами по контуру бутонов, розы на метр вокруг благоухали и поражали своей райской девственностью.

Луиза осталась в том же платье с воланом. Волосы прибрала в обычный пучок. В сочетании с платьем и с ярко накрашенным ртом, слегка растрепавшийся пучок придавал ей что-то неожиданно женственное, немного старившее ее, но как-то очень кстати. И не потому, что это ей очень шло, а потому что это придавало всей компании хоть какую-то благопристойность.

* * *

Никто из четверых не ожидал оказаться в столь многолюдном дворе. Вокруг столов с белыми скатертями, которые были расставлены вдоль туевых кустов и уже были накрыты и ломились от посуды, бутылок и ваз с цветами, толпилось человек пятьдесят приглашенных.

Петр узнавал немногих: актрису Белью, соседку, с красными больше обычного, распущенными до плеч волосами, двух сослуживцев хозяина, приехавших с женами, парижскую компаньоншу хозяйки, бледнолицую брюнетку средних лет, одетую в черную, туго облегающую пару, которая блуждала между гостями раскованным аллюром. Кроме них – двоюродного брата хозяина, плотного белобрысого тьюфяка, своей розовой сконфуженной миной выдававшего в себе человека неумного, но добродушного, двух пожилых родственниц хозяйки и еще седого, благообразного старика в старомодном костюме, который тонул в большом кожаном кресле, вынесенном на траву, и отчаянно шурился по сторонам, пытаясь сориентироваться в праздничной суматохе.

Именно возле старика и происходила самая ожесточенная суতোлка. Группа детей тут же шныряла по газонам, преследуя хозяйских спаниелей. Все три пса, не понимая, в чем заключается игра, затеянная детьми, шарахались у них из-под ног, кружили вокруг старика в кресле, прыгали на него, пытались лизнуть в лицо. Отбиваясь от собак, старик вынул белый носовой платок и вытирал со щеки собачью слюну.

От горстки незнакомых мужчин отделился Сильвестр-муж. Без пиджака, в будничной сорочке с короткими рукавами и в галстукe, сосед был в приподнятом настроении, обычным тоном балагурил, обводил новых гостей вопросительным взглядом, и Петр не сразу догадался, что тот ждет от него какой-то реакции.

– Да, борода! – Сильвестр поднес руку к подбородку и продемонстрировал свой профиль с обеих сторон.

– Сбрил? Действительно сбрил! – Петр недоуменно закачал головой.

– Плохо?

– Не то что плохо... Я тебя таким никогда не видел.

– Женни говорит, стал похож на немецкого стюарда... из Люфтганзы. – Сосед перевел взгляд на букет роз в руках у Петра и на деревянный ящик с вином; упрекнув за транжирство, он как должное принял подношение и перевел взгляд на Луизу. – Давненько-давненько... О, да вы гляньте! – Свободной рукой сосед обвил Луизу за талию и привлек к себе. – Была мадемуазель, а теперь...

Луиза высвободилась из объятий и ладошкой указала на своих друзей, с безучастным видом топтавшихся по бокам от нее:

– Тимми, Робер.

Будто телохранители, оба продолжали озираться по сторонам, явно не чувствовали себя обязанными распинаться в приветствиях.

– Очень, очень рад, – заверил Сильвестр, не понимая, что видит молодых людей впервые. – Сегодня я Марту кое с кем познакомлю, – добавил сосед, подкрепив обещание энергичным движением выбритых скул. – Век будет помнить старого безбородого Сильвестра.

– А Марты не будет, – предупредила Луиза.

– То есть как... как не будет?! – изумился сосед.

– Ей пришлось срочно уехать, – сказал Петр с неестественной натуральностью и поймал на себе продолжительный и неодобрительный взгляд племянницы, тот же, что и по дороге с вокзала домой, когда она осведомилась о Марте в первый раз.

Вряд ли что-то поняв, Сильвестр недовольно повел бровями и направился к дому, чтобы избавиться от ящика с бутылками.

Уже через несколько минут Луиза и молодые люди чувствовали себя как дома. Сам Петр еще не успел со всеми перездороваться, а американец уже трепал кудри детворе. Две девчушки – обе в светлых платьях – не давали ему прохода, топтались у него в ногах и глазели на него, как туристы смотрят на статую Линкольна. Робер увереннее чувствовал себя в обществе Луизы, преследовал ее как тень и с непогрешимым видом раскланивался с незнакомыми людьми. Многие из гостей обрушивались на Робера с бурными приветствиями и похвалами по поводу его быстрого возмужания, – все, словно сговорившись, принимали его за сына хозяев. Масла в огонь подливала и сама Луиза: чтобы подшутить над наивными гостями, она намеренно выставляла самозванца напоказ. Будучи неробкого десятка, тот нисколько не чувствовал себя оскорбленным.

В саду стоял гул от голосов. В сдержанный шум многолюдного сборища врывались крики детворы. От веранды, где резвилась группа малышей, раздавались не просто крики, а вопли и визг. Кому-то из взрослых пришлось поспешить туда, чтобы навести порядок.

С застекленной веранды, распахнутой в сад, доносилась джазовая импровизация со сложным ритмом, спотыкающимся на синкопах, к которому примешивался рассыпчатый звон и хриплые подвывания. Долговязый сын Сильвестров, на которого была возложена музыкальная часть программы, время от времени появлялся на веранде, чтобы запустить новый диск, не то настоящую пластинку, – существенных изменений в музыке от этого не происходило, – и опять летел через газоны помогать матери, увлекал за собой гурьбу детворы, которая казалась всё более неуправляемой, всё более дуревшей от раздолья.

Из-за дома появлялись новые гости. Шурша ногами по неубранной листве, все несли какие-то пакеты и вели за руки очередной выводок наряженных отпрысков. При входе в сад у всех в лицах сразу же появлялось одинаково недоуменное выражение.

Женни Сильвестр, от любезностей в ее адрес, расточаемых на каждом шагу, и от непривычки принимать такое количество людей, казалась немного невменяемой. Обмениваясь с гостями торопливыми, мало на что их обязывающими репликами, она давала распоряжения у столов, вновь возвращалась на кухню, в который раз спешила к воротам, стоило спаниелям ринуться за угол дома, сбивая друг друга с ног, навстречу новоприбывшим. Наскочив на Петра, хозяйка поймала его за локоть и стала водить по саду, чтобы самолично познакомить со всеми, кого он видел здесь впервые.

Покорно пожимая руки незнакомым мужчинам и женщинам, Петр всерьез подыгрывал соседке. Взволнованная хозяйка городила что-то несурзкое. Она почему-то называла его «блюстителем правопорядка», и ему не оставалось ничего другого, как многозначительно улыбаться. Церемония знакомства кое-как завершилась, и Петр пошел поздороваться с четой Форестье.

Всем семейством, с дочерью, Форестье топтались возле крайнего стола, заставленного бутылками с аперитивами, в окружении незнакомых людей, которые внимали бурному монологу актрисы Бельом. Она громогласно объясняла всем преимущества не то жизни в провинции, не то нравов сельской местности, откуда была родом, над «городским лицемерием». Ни жена архитектора, ни сам Форестье – он держал в одной руке стакан с виски, а другой прижимал к себе любимицу дочь – за болтовней Бельом не следили и даже не старались делать вид, что проявляют к разговору интерес.

В двух шагах от семьи архитектора кружил Жиль, старший брат Форестье. Напару братья держали архитектурное бюро. Родство почему-то сразу угадывалось, но не по физическому сходству и даже не по схожему темпераменту, а по какой-то характерной для обоих сибаритности, по умению слушать говорящего, томно глядя ему в глаза, но при этом не ставить его ни в грош и думать о чем-то совершенно постороннем.

Форестье-1 – так за глаза звали старшего брата, рослого, крупнотелого сангвиника, – тоже приехал с женой. Бледнолицая, быстро увядшая блондинка, правильное лицо которой еще оставалось привлекательным, мадам Форестье-1-я была одета совсем буднично – в простенький розовый свитер, и если бы не три массивных перстня на одной руке, а-ля богема, но из антикварного магазина, которые бросались в глаза оттого, что она не переставала жестикулировать, ее слишком домашний вид мог бы показаться странным. Муж своим видом шокировал меньше. Слово из протеста против официальности подобных торжеств, любивший щеголять показным пренебрежением к правилам хорошего тона, он ограничился затрапезным синим свитером, один из локтей которого протерся, и зимним шерстяным шарфом алого цвета.

– Не строй себе иллюзий! – осадил актриса Бельом Форестье-младшего, который осмелился с чем-то не согласиться. – Ты свою дочь порасспроси! Она тебе объяснит, что к чему... Правда? Моя ты крошечка... – Бельом подалась в сторону двенадцатилетней дочери Форестье, которую тот прижимал к себе обеими руками как какое-то редкое сокровище, которым не хотел и не мог поделиться, но девочка увернулась от рук актрисы, и актриса разразилась хриплым, разбитным хохотом. – В наши дни дети уже в десять лет понимают, что появились на свет не из капусты. Был у нас пожилой юре... Сами понимаете: разве может десятилетняя провинциальная девчонка не заглядываться на молодого местного клирика... – снова принялась что-то рассказывать Бельом. – Придет к нам, бывало, заберусь к нему на колени... костлявые, как сейчас помню... и давай пытать беднягу: «Ну скажите, откуда берутся дети...» Ах, как розовел! Ах, как бледнел! А как стирал пот со лба краем сутаны... Нет, никогда не забуду! А однажды, что вы думаете? «Брысь! – говорит. – Дух нечистый! Такие, как ты, из ничего вырастают, как лебеда на куче мусора».

Теперь уже вся компания, собравшаяся вокруг актрисы, взорвалась дружным гоголом.

Архитектор отпустил дочь и ринулся к столам наполнять свой бокалице. Петр направился за ним следом. Но дорогу ему преступила незнакомая, средних лет женщина в неприятно ярком, карминового цвета костюме.

Представившись двоюродной сестрой хозяйки дома, она протянула ему увесистый стакан с виски, доверху наполненный кусками льда, – инициатива исходила от хозяйки дома, поскольку никому, кроме нее, не были известны питейные привычки соседа. Петр не успел поблагодарить за виски, как на него поплыл с приветствиями Форестье-И. Жиль, старший брат, вдруг распознал в нем соседа своего брата, да и неплохого собутыльника.

– Вот кого действительно рад видеть! – заверил Форестье-И проникновенным тоном, хлопая Петра по плечу и улыбаясь. – Нет, честное слово! Как дела? Не осточертела дачная скука?

Петр кивнул, но не нашелся что ответить.

– А мне – вот здесь сидит! Променял бы на любую клетку в городе, – заявил Форестье-И с вызывающей прямоотой.

Рослый, крупнотелый сангвиник, Жиль Форестье славился своим бурным темпераментом, любовью к детям и левацкими взглядами – репутация закрепилась за ним из-за его болезненного пристрастия к застольным дискуссиям. Что-то особое, провоцирующее всегда, впрочем, настораживало во взгляде его темных, пронизательных глаз, по которым легко удавалось определить ход его мыслей, однако это впечатление обычно обнаруживало свою ошибочность: говорить Жиль Форестье начинал всегда о чем-то совершенно неожиданном.

– У вас опять трудности? – спросил Петр.

– Трудности?! – Форестье-И уставил на него бездонный взгляд и отмахнулся, словно не хотел сгоряча наговорить лишнего.

Вопрос действительно казался лишним. Сомнения в том, что дела у братьев плохи, мгновенно развеивались по их виду, особенно по виду младшего, соседа. Стабильности в работе архитектурной «мастерской», которой они руководили на равных началах, не было с тех пор, как Петр знал обоих. Когда же положение становилось критическим, а такое случалось всё чаще, это безошибочно угадывалось по внезапной молчаливости Форестье-младшего, ему несвойственной, по особой мягкости в обращении с окружающими, а также по порциям виски, которые он начинал отмеривать себе на аперитив. От доз в один палец, какими возбуждают аппетит, Форестье-младший переходил к утроенным, которые должны были пробудить в нем не аппетит, а, казалось, сам интерес к жизни.

Вокруг Форестье-младшего завязалась, как обычно, бурная дискуссия. Зачинщиком спора был старший из братьев. Петр пропустил начало разговора, и когда до него дошло, что речь идет о «демократии», Форестье-И, старший брат, излагая свою точку зрения, уже успел раскраснеться как рак от возбуждения и уже никого не слышал:

– Весь наш взгляд на вещи, наш образ мышления, всё наше общественное устройство могут привести только к измельчанию. Поэтому в нашей сегодняшней культуре и нет грандиозности. Вместо нее – мания величия! – Форестье-И скорбно сверкал глазами, словно в обиде на кого-то лично из собеседников. – А поэтому вся эта болтовня про индивидуальные свободы и про коллективную ответственность... демагогия всё это! Нам нравится безответственность. Вот нас и пичкают всякой ерундой. Все кому не лень! Кто платит за газеты? Мы! Питер вон сколько месяцев висел над душой у министерских функционеров, чтобы они ну хотя бы пальцем пошевелили, ведь человек пропал в Африке... – Форестье-И ссылался на давний разговор с Петром о Фон Ломове, который имел место весной, но приведенный пример казался всё же неожиданным, потому что Петр никогда не утверждал и близко ничего подобного. – Человек пропал, понимаете – а они мычат непонятно что... Ты не согласен со мной, Питер?

– Согласен, – поспешно сказал Петр, понимая, что его ответ не имеет значения.

– С тобой невозможно ни о чем говорить. Ты постоянно загибаешь, – упрекнул брата Форестье-младший.

– Я загибаю? В чем?! В том, что мы не способны ни на малейшую жертву во имя чего-то нерационального, не приносящего немедленной выгоды? Да ведь дураку ясно, что мы боимся идей. Мы боимся их как огня! При этом, конечно, забываем, что всё великое, всё грандиозное всегда начиналось с идеи, и даже с навязчивой идеи! Новое всегда кажется странным. В этом нет ничего странного. Но что ужаснее всего: даже наши представления о рациональном, о полезном мы выводим из усредненных стандартов, из такого понятия, как «золотая середина». Этим мы отрезаем себе все пути, которые ведут к настоящему культурному росту. Посмотрите, во что мы превратились! Когда-то Франция навязывала стиль жизни стольким народам. Она была законодателем не просто моды, а государственности, образа мыслей. А сегодня? Американизированная, средняя страна... которая пытается перетасовать старую колоду с мечеными картами в свою пользу. Поэтому она и заседает по европейским советам и мирным конференциям. Да что говорить? Ведь даже, когда мы штампуют собственные самолеты, большая часть деталей, которые идут на сборку, американского производства, едим мы генетически изуродованные продукты. Что тогда говорить о самой культуре? О какой независимости, о каком величии может идти речь? Да понимаете ли вы, насколько это серьезно?! В этой стране не стало культуры! Одни бутики и супермаркеты. Питер, ты на меня смотришь таким взглядом...

– Сочувственным, – вздохнул Петр. – Другой всё равно нет.

– Культуры?

– Франции.

– В том-то и беда. – Форестье-И мрачно кивнул и замолчал.

– Что же ты предлагаешь, если всё так беспросветно, как ты расписываешь? – поддел младший брат. – Собирать чемоданы и дружно валить в Америку?

– Я?... Да я ничего не предлагаю..., – пробормотал первый, едва ли слыша брата. – Я устал предлагать. Открыть глаза, трезво взглянуть на вещи – это уже полдела.

В столпотворении гостей произошло брожение. Родственница Женни Сильвестр просила всех пройти ближе к веранде, где готовилась какая-то церемония.

Толпа потеснилась, образовала перед газоном полукруг, в центре которого кучей высились пакеты всех цветов и размеров, сложенные прямо на траву – подарки, преподнесенные хозяевам и собранные как бы в «общий котел». Голоса стихли.

Сильвестр, от возбуждения раскрасневшийся и без бороды похожий не на себя, а на кого-то другого, знакомого, вышел вперед, пробормотал какую-то сумбурную сентенцию, поблагодарил за проявленное к ним с женой внимание, и один из гостей сразу приступил к делу.

К удивлению Петра, в ассистенты Сильвестру выбился не кто иной, как Робер, кавалер Луизы. Принимая подарки из рук двоюродной сестры хозяйки, которая не успевала пакеты распаковывать, Робер поднимал подарок над головой словно трофеем, чтобы все могли на него полюбоваться, небрежно опускал на траву, некоторые предметы попросту отшвыривал в сторону как никчемные безделушки и переходил к следующему...

Сильвестр получил в подарок свой собственный цветной фотопортрет, на котором был запечатлен с бородой, впившись губами в детскую соску, насажанную на бутылку шампанского; помимо портрета – ящик столовых приборов из серебра, целых три монографии по собаководству, альбом порнографических комиксов, новый комплект для игры в крикет и небольшой яркий холст на подрамнике, выполненный масляными красками, с оранжевым пятном в замутненной перспективе, который чем-то напоминал картины Хуана Миро, но был подписан неизвестным современным живописцем. Этот подарок, сделанный архитектором, и был, вероятно, самым ценным из всего.

Хозяйке дома в подарок достался банный халат лилового цвета, ящик дорогого шампанского, набор никелированных кастрюль, два авиабилета на Сейшелы – на них потратилась не то ее компаньонша, не то родственники, заплатив за тур в складчину...

Уже чувствовавшийся дурман от виски, выпитого на голодный желудок, заставил Петра отойти к столам, чтобы положить в тарелку что-нибудь из закусок.

Братья Форестье, а следом за братьями и актриса Бельом последовали его примеру. Через минуту вчетвером они сидели за столом, застеленным белой скатертью, передавая друг другу приборы, рюмки и блюда с закусками, тем самым нарушая план пиршества, предусмотренный хозяевами, – Сильвестры не имели возможности накрыть нормальный стол со стульями на такое количество гостей и планировали обойтись стоячим застольем.

Старший из братьев закусывать не торопился. Выщеживая со дна стакана остатки двенадцатилетнего скотча, он продолжал начатую дискуссию, которая принимала новый и в чем-то важный для него поворот. Сидящие за столом следили не столько за его речью, сколько за его бурной жестикуляцией.

– Мне кажется, наша главная беда заключается в том, что мы тратим все силы на ерунду, хотим угодить и вашим и нашим. При этом стараемся не остаться в дураках. А это, конечно, невозможно. Возомнили себя, видишь ли, центром мира! Эдакий комбинат с полным производственным циклом! Хотим, мол, всего отведать. Хотим успеть повсюду. Вот и становимся эдакой требухой.

– Не мы, а ты.., – заметил Форестье-младший. – Пэ, возьми паштет – отличный! А его не слушай. Он сегодня как в ударе.

– Даже дырку в горе, даже туннель невозможно прорыть, если бурить сразу во всех направлениях, – не слыша брата, продолжал другой. – Гора обвалится от такой работы. Вся культура нашей страны, да и не только нашей, заражена сиюминутным стремлением угодить простейшим запросам. Поэтому она и становится эклектичной. Поэтому в ней царит такое отсутствие принципов, вседозволенность. Она всё вбирает в себя как водоворот или как выгребная яма, а мы тут рассуждаем, рассуждаем... О чем, спрашивается? – Форестье-И поставил стакан на скатерть и, воспользовавшись молчанием, воцарившимся за столом, стал накладывать себе в тарелку всего понемногу, после чего, пригрозив всем вилкой, словно предостерегая от возражений, продолжал разглагольствовать: – А что значит – водоворот? Это значит смешение рас, идей, всего... в одну кучу. Город Париж... не знаю, как вы, но я его не люблю... даже с точки зрения градостроения отстроен по тому же принципу. По принципу водоворота. Его центростремительная сила всасывает в себя. Она притягивает к себе всё, что оказывается в радиусе ее воздействия. Вы скажете, что это свойственно всем большим городам? Черта с два! Ничего подобного! Есть и другие модели, не хуже. Например, модель, построенная на принципе взаимодействия двух силовых векторов – лево-правая. По этой модели построен Нью-Йорк, Вест-Сайд. Ты же, по-моему, сам этому удивлялся, Питер? Или я ошибаюсь?

– Не помню, не обращал внимания, – ответил Петр с медлительностью, разделявая кусок холодной телятины.

– В следующий раз поедешь – обрати внимание. Настоятельно рекомендую.

– Дело, конечно, не в планировке улиц, а в менталитете, которым пропитываются умы людей, – уточнил Форестье-И свою мысль.

Актриса Бельом, всё это время не отрывавшая глаз от тарелки, медленно и сосредоточенно налегавшая на полусырой ростбиф с салатом, вдруг произнесла своим звучным контральто:

– Ты смотришь в горлышко бутылки, Жиль... залезть в которую всё равно не сможешь. Тот даже опешил.

– У тебя одни бутылки на уме! – отмахнулся другой. – Говорить ни о чем невозможно.

– То, что я могу выпить за пятерых, это давно всем известно, – с вызовом признала Бельом, но ее хриплый голос надорвался от иронии. – А то, что тебя жизнь засосала как тряпина, эта новость, по-моему, тебя самого удивляет. Заказов мало? Так бы и сказал. Америка и градостроение тут при чем?

– Да при чем здесь заказы?! Но даже если так... Я человек деятельный. Мне необходимо тратить свои силы. Я не вижу в этом ничего постыдного, – оскорбленно выплеснул Жиль Форестье.

– Главное, не отчаиваться, – подбодрила Бельом. – Перетерпишь – это и нервы укрепляет, и на душе потом звонче становится.

– У меня от этого уже не звенит на душе, – отрезал тот и, развернувшись к Петру, спросил его: – Ну что, я не прав? Рассуди, Питер. Что я говорю непонятного?

– Про гору с дыркой и про требуху я всё же не понял, – сказал Петр, чувствуя, что Форестье-И обижается на всеобщее безучастие; оно и привело к стычке старшего брата с актрисой.

– А я про водоворот и про Нью-Йорк чего-то не уловил, – поддержал мнение Петра младший брат.

– Любая страна с развитой культурной должна совмещать две вещи: быть терпимой к внешним веяниям и сохранять свою идентичность, то есть совокупность ее национального прошлого, духовного опыта и традиций, – с серьезностью продолжал Форестье-И. – Терпимости сегодня – хоть отбавляй. А вот насчет совокупности... Поэтому равновесие и нарушено. Добиваться равновесия за счет нетерпимости? Бесплезно! Замкнутость ни к чему не приведет. Равновесия можно добиться только через консолидацию. Не силой надо брать, а умением! И нам с вами никуда от этого не деться... Человек – составная часть, пусть мизерная, этого механизма. Когда что-то нарушено в работе главного механизма, это выводит из строя и человека. В его существовании появляется расшатанность, торможение... Я хочу сказать, что по всем этим причинам наше с вами существование протекает сегодня на слабеньких, пониженных оборотах. Мы не живем, а доживаем. Ждем чего-то. Лично я об этом сожалею.

– Глядя на тебя, этого не скажешь, – поддела Бельом.

– Мы сидим на голодном пайке. А я нуждаюсь в движении, – добавил Форестье-И, игнорируя актрису.

– В этом ты прав. Когда у меня нет работы, я с ума схожу, – не оставляла его Бельом в покое.

– Работа – болезнь века. Всего не переделаешь, – сказал Форестье-младший.

– Этого ты от Питера нахватался! – упрекнул старший брат.

– А Питер-то тут при чем? – возмутился младший.

– Я бездельничать тоже не умею. Но ограничивать себя наверное нужно, – произнес Петр. – Иначе – суета. А суета – это грех.

– Суета?! Ну ты даешь... Да лично я так устроен, что не могу ничем не заниматься! – возмутился Форестье-И. – Моим мозгам просто необходим приток адреналина. Постоянно находиться в этом состоянии невозможно – согласен. Жизнь на полную катушку изнашивает – согласен. Но мы должны поддерживать в себе напряжение... в минимальном виде. Благодаря этому мы и живы.

Петр смотрел в сад, где опять происходило какое-то брожение. Следить за дискуссией становилось всё труднее из-за музыки. От ее грохота воздух буквально вздрагивал.

Форестье-И вдруг поднялся из-за стола, обвел сидящих надменным взглядом и произнес:

– О чем мы спорим?.. Совсем крыша поехала!

Отшвырнув на стол свою салфетку, Жиль Форестье отставил свой стул в сторону и зашагал в направлении веранды, на которой начали танцевать рок-н-ролл.

Распахнутая в сад и озаренная ослепительно-белым светом веранда теперь всех привлекала. Танцующих стало так много, что места для всех не хватало, и некоторым пришлось выйти на газон, чтобы дожидаться там своей очереди, не мешая остальным.

Сидевшие за столом закончили есть в безмолвии, после чего один за другим все последовали примеру Форестье-старшего.

Оставшись за столом один, Петр наблюдал из потемневшего сада, как старший брат, забыв обо всех своих дилеммах, только что казавшихся ему неразрешимыми, чуть ли не с разбегу ворвался в гущу танцующих и начал увиваться за кем-то из женщин, проделывал всё это с той же необузданностью, с какой только что предавался болтовне.

Петр не заметил, как к нему приблизилась хозяйка дома. В накинутах на плечи мужском пиджаке соседка выглядела уставшей, растерянной. Она подалась вперед и что-то произнесла. Но Петр не расслышал. Сильвестр попыталась повторить сказанное уже на ухо, однако ей помешал новый взрыв музыки на веранде. Женни Сильвестр показала пальцами на уши и, поймав Петра за руку, повлекла его к веранде.

Он попытался воспротивиться, но безуспешно. Что-то мимолетное, в долю секунды проскользнувшее на лице соседки, всколыхнуло в нем чувство жалости. А затем, когда в момент приближения к веранде Петр поймал на себе настойчивый взгляд танцующей Элен Форестье, он и вовсе перестал сопротивляться.

Распаленная и испуганно улыбающаяся на все четыре стороны, Элен Форестье подбадривающе кивала ему в промежутках между пируэтами рок-н-ролла, но уже в следующий миг продолжала вновь выделять чуть ли не гимнастические выкрутасы с молодым худым парнем в одной майке, который мотал ее вокруг себя как нечто бескостное. Петр не сразу узнал в танцоре Робера.

Самыми трудными, неуклюжими были, как всегда, лишь первые шаги. Он не танцевал уже около десяти лет, да и не любил танцевать. Но Женни Сильвестр настолько уверенно верховодила, что это оказалось проще, чем он думал.

– Вот видишь, получается! – Сильвестр пыталась перекричать музыку; покрывшись испариной, обдавая приторным запахом духов, соседка крепко вцепилась Петру в правое запястье, вела его за собой и не переставала усложнять движения. – Теперь с разбегу и по кругу! Вот так...

Не выпуская его руки, Сильвестр пролетела у него под локтем, и он даже не ожидал, что этот пируэт рок-н-ролла, который другие проделывали с удивительной ловкостью, мог получиться и у него.

Мало-помалу Петр втянулся в ритм, как и все, вспотел и вдруг был вынужден бороться с приливом хохота, который распирает его изнутри, а вместе с тем не мог перебороть в себе ощущения, что одержал над собой какую-то победу и что обошлась эта победа в ломаный грош...

Когда гром музыки прервался и они вернулись к столам, в саду стало совсем темно. Порывисто дыша, весь в испарине, Петр наполнил шампанским два бокала, но Сильвестр от шампанского отказалась. Задержав возле себя сына, который пронесся мимо, она попросила его принести с кухни апельсиновый сок.

– Мишель мне сказал, что Марта уехала?

Петр кивнул.

– Надолго?

Он помедлил и, взмахнув рукавом, признался в главном:

– Насовсем.

Смутившись, Сильвестр молчала, но затем заметила:

– Когда Луиза мне сказала, что вы повздорили, я почему-то так и подумала.

– Луиза?.. Она об этом говорила?

– Жаль, конечно... Я всегда завидовала вашим отношениям, их легкости. Вас не касалась рутина и всё такое... Всё то, что другим отравляет жизнь.

– Видимость! Ты вообразить себе не можешь, как я устал от этого, – сказал Петр. – От совместной жизни! Да и от всего. Но я наверное не прав, – добавил он вопросительно и стал смотреть в темноту.

– Это не вопрос правоты.

– Когда разрыв происходит по неизбежности, сам собой, то, наверное, да – нет ни правых, ни виноватых. Когда же сам всё делаешь для этого... Я ведь ее выгнал.

– Взял и выгнал? – усомнилась Сильвестр.

– Называть можно по-разному...

– А вот я уже не способна ни на какие поступки. Хотя и у меня бывают ситуации, – сказала Сильвестр с непонятной проникновенностью.

Петр поднял на соседку взгляд, догадываясь, что ей хотелось поделиться чем-то важным. Но она молчала, а ее глаза, уставившиеся во мрак, опять заблестели.

– Ты наверное будешь смеяться, если я скажу тебе, что у меня есть жизнь вне дома, – медленно заговорила она.

Петр не знал, что сказать. Он не совсем понимал, какое отношение сказанное имеет к его разрыву с Мартой. Он развел руками. Откровенность Сильвестр была ему неприятна.

– Но изменить что-нибудь не могу, – продолжила та. – Мне иногда кажется, что над каждым из нас висит какой-то колпак, который прикрывает нас сверху, который спасает от холода, от голода. Но дается этот колпак только раз в жизни. Стоит однажды вырваться из-под него, так и останешься под открытым небом. Я никогда не смогла бы ничего изменить, – повторила Сильвестр.

– По-моему, ничего и нельзя менять. Нельзя это делать намеренно, – сказал Петр. – Если посуда разбилась, нужно собирать осколки, а не крошить ее ногами на мелкие кусочки.

– От кого слышу! – не поверила Сильвестр. – Я думала, что в этом и состоит главное отличие... между тобой и мной... В том, что ты на это способен, а я нет.

– Господи, какой всё же спорт! – сменил Петр тему. – Я не знал, что ты так хорошо танцуешь.

Отвернувшись к веранде, Женни Сильвестр вновь казалась чем-то удрученной.

– Тебе Мишель ничего не говорил? – спросила она.

– О чем?

– Обо мне.

– Нет. А что он должен был сказать?

– Насчет моих хождений по врачам... Я теперь уверена, что у меня что-то ужасное. Они меня дурят. Но я же чувствую.

– Как можно делать такие выводы? Это нервное. После машины.

– Я уверена.

Помолчав, Петр заговорил другим тоном:

– Со мной иногда такое случается, когда слишком много выкуриваю за день, то, просыпаясь ночью от боли в горле, я говорю себе: ну вот, приехал – рак! И так тянется уже лет десять. А я жив-здоров, как видишь. К каким врачам ты ходишь?

– Пожалуйста, Питер... Никто ничего толком сказать не может.

Плечи соседки дрогнули. В следующий миг она разразилась настоящими рыданиями. Приблизившись к ней, Петр привлек ее за плечи к себе и, стараясь успокоить, сжал ее ладонь. Та рыдала неудержимо.

В этот момент к ним подлетела чья-то девчушка, а следом за ней примчался сын Сильвестров, который увел мать в дом...

На улице заметно посвежело и уже почти стемнело. Некоторое время Петр оставался один возле столов, откуда лучше всего просматривалась веранда, а затем, накинув на плечи джемпер, прошелся вдоль центрального газона и углубился в ночной сад.

Пахло скошенной травой и еще чем-то терпким, знакомым, но чем именно, вспомнить не удавалось. Трава уже стала сырой от росы. Ноги сразу намокли.

Он хотел было возвращаться к веранде, как прометнувшаяся во мраке тень заставила его остановиться. В следующий миг под ноги ему вылетел рыжий хозяйский спаниель. Пес вывалил из пасти теннисный мяч и, задрав морду, стал поводить хвостом, в надежде, что мяч запустят в воздух.

Петр потрепал пса за уши, поднял мяч и швырнул его в темноту, стараясь не забросить его в кусты. Стрелой сорвавшись с места и размахивая длинными ушами, спаниель рванул к кустам и тут же вернулся с мячиком, вывалил его в траву, но не рядом, а на некотором отдалении.

Как только Петр пришел в движение, спаниель вновь схватил мяч в пасть и отскочил в сторону.

Слева в полутьме на фоне кустов выросло два силуэта. Петр узнал племянницу. Выйдя на газон и заметив его, она направилась в его сторону. За ней следом плелся американец, одной рукой он заправлял за пояс брюк майку, в другой держал пустую бутылку от шампанского.

– Дядя, дядя... – нараспев произнесла Луиза. – Вы что здесь потеряли? Один... в темноте...

– А вон! – Петр показал на спаниеля.

Пес взвизгнул, затрясся от нетерпения и даже сделал стойку.

– Надо же, какой дурень..., – усмехнулся Петр и запустил мяч по той же траектории...

Вернувшись к себе в дом в разгар вечера, Петр некоторое время сидел в тишине ночного сада и слушал какую-то знакомую фортепьянную музыку, доносившуюся из забытого в гостиной включенным радиоприемника.

После шума соседского двора тишина казалась необычной, какой-то насыщенной, в нее хотелось вслушиваться. Из сада действительно доносились непонятные шорохи. Он вглядывался в колеблющиеся от ветра тени и не мог определить, что это.

Воздух стал чист, пахуч. Ночной свежестью трудно было насытиться досыта. Он не мог побороть в себе того легкого, беспричинного воодушевления, вперемежку с каким-то томящим мысленным сумбуром, который нередко овладевал им после шампанского, если удавалось не выпить лишнего, но, в конце концов, всегда оказывался мучительным. Бессонницу и сумбур это гарантировало до самого рассвета.

Как размещать племянницу с ее гостями? Спали ли все врозь? Или кому-то следовало постелить в отдельной спальне с двуспальным ложем, как в прошлые приезды?

Чтобы избежать ошибки, Петр приколол на входную дверь записку:

Луиза, я уже лег. На ночь распорядись по своему усмотрению. Обе спальни наверху свободны, плюс моя – третья. Постельное белье – в комод, который стоит наверху в коридоре возле лестницы. Себе я постелил в кабинете.

Петр и сам не мог позднее понять, что взбрело ему в голову утром, когда, проснувшись, он поднялся на второй этаж и открыл дверь в одну из спален...

Еще не было восьми. Он поднялся наверх, чтобы взять в одежной нише свежую рубашку и заодно проверить, удалось ли Луизе всех как следует разместить. Такими, по крайней мере, доводами он успокаивал себя позднее, пытаясь найти объяснение своей выходке...

Сначала он приоткрыл дверь в свою спальню. Комната оказалась пуста, кровать даже не была разобрана. Он приоткрыл дверь в соседнюю спальню. И глазам его предстала неожиданная картина.

Американец МакКлоуз, по пояс голый, в одних трусах, сидел на кровати и смотрел на него безразличным взором. Синие, сомнамбулические глаза американца смотрели и не видели.

За правильным, спортивным торсом МакКлоуза виднелась голова Луизы с разбросанными по подушке волосами. Племянница спала в объятиях другого. То есть третьего...

В следующий миг МакКлоуз просиял странной улыбкой лунатика, и Петр поспешил скрыться за дверь.

За завтраком – Петр накрыл стол в гостиной с особой тщательностью – американец держал себя, как и накануне, непринужденно. Ничего особенного как будто и не произошло. Петр спрашивал себя, помнит ли тот о его появлении на пороге комнаты? Не была ли забывчивость американца вызвана тем, что все трое накурились перед сном какой-нибудь шмали?

Луиза за обе щеки уплетала разогретые в духовке круассаны, обильно намазывая их медом. Когда она взяла из корзинки третий круассан, Петр отправился разогреть оставшиеся.

Робер, принявший душ, но сонный и непричесанный, еще больше поражал своей худобой. Весь в родинках – ими были усыпаны и грудь, и руки, все оголенные части тела, не прикрытые майкой, – он прихлебывал кофе, засматривался на дно чашки, к еде не притрагивался, но с жадностью затягивался сигаретой, и мгновениями казалось – спит сидя...

На следующий день Петр узнал от Форестье-младшего, что в четверг, за два дня до вечера у соседей, Сильвестры провели вечер с Мартой – вместе ужинали где-то неподалеку от оперы. Вспоминая свой разговор с соседкой в саду после рок-н-ролла, который озадачил его своей неожиданной откровенностью, Петр теперь не знал, как объяснить двусмысленное поведение Сильвестров, не мог не чувствовать себя в нелепом положении, а вместе с тем не мог не испытывать нарастающей неприязни к Марте – неприязни к человеку, с которым прожил больше пяти лет. И как он ни ужасался этому чувству, такое случилось с ним впервые в жизни, он ничего не мог с собой поделать.

Подыскать для Марты подходящее жилье в черте города оказалось не таким простым делом, как он думал. Все квартиры, осмотренные им в течение недели при содействии агентства, в которое он решил обратиться без Женни Сильвестр, чем-то не устраивали. Лишь одна из квартир, находившаяся неподалеку от парка Монсо, совсем рядом с улицей, где жили Калленборны – две комнаты, кухня, просторная ванная, – отдаленно отвечала тому, что Петр искал, но оказалась немеблированной.

Петр склонялся к мысли, что более здравым решением было бы предложить Марте денежную помощь для того, чтобы она самостоятельно подыскала себе то, что ей будет по душе, – сверх тех восьми тысяч франков «пособия», которые он намеревался выдавать ей ежемесячно, пока ее жизнь не войдет в привычное русло. И он считал, что это может продлиться не меньше года. Впрочем, он готов был и на большее. Со съемом квартиры возле парка Монсо Петр решил повременить. Но прежде чем окончательно оставить эту идею, он решил сделать последнюю попытку и обратился не к соседке-риелторше, а к одному из бывших клиентов кабинета, занимавшемуся посредническими услугами в вопросах приобретения недвижимости. Тот согласился помочь и уже к концу недели предложил то, что Петр искал.

Небольшая и добротнo меблированная студия, только что после капитального ремонта, находилась на последнем этаже старинного здания, в одной из тихих улочек восемнадцатого округа. С большого балкона открывался вид на озелененный сквер. Два окна выходили во

внутренний двор, такой же тихий, погруженный в тень деревьев, наполненный, как и сквер, шелестом листвы.

Петр оформил гарантийные письма и внес предоплату за три месяца. В тот же вечер через Сильвестров он передал Марте чек на пятьдесят тысяч франков, в счет восьми тысяч, которые собирался выделять ей каждый месяц, и только теперь почувствовал, что гора свалилась с плеч. Но не прошло и двух дней, как на него обрушилось неожиданное известие: вселяться в новую квартиру Марта не собиралась. Она отказывалась от каких-либо переговоров и от «делок» – так она назвала попытки обустроить ее жизнь вне Гарна. В доказательство своей непримиримости Марта вернула почтой переданный через Сильвестров чек, разорванный на кусочки, и как-то днем, в рабочее время, наведаясь в Гарн, воспользовалась имевшейся у нее связкой ключей и вывезла все свои вещи.

Вскоре после этого ему стало известно и другое: Марта будто бы живет с актером, с тем самым глуповатым циником, которого актриса Бельом несколько месяцев назад перезнакомила со всем Гарном, устроив у себя в саду вечеринку, для большинства закончившуюся похмельем. Новость удивляла не только Петра. Она озадачивала уже тем, что новый сожитель Марты имел репутацию мужчины, безразличного к слабому полу.

* * *

В следующие выходные, в субботу, Луиза предупредила о своем приезде необычно ранним утренним звонком. Неестественно конфиденциальным тоном она осведомилась, не будет ли «обузой», если останется в Гарне на два дня «с ночевкой», и попросила ее не встречать...

В двенадцатом часу от въезда в поселок с шоссе донесся необычный рев автомобиля, какой бывает, когда неисправен глушитель. Уже по одному этому реву, для Гарна непривычному, Петр догадался, что едут к нему.

Он вышел к воротам и увидел на аллее помятый «ситроен-DS», вырливающий к его воротам. Из-за грязного лобового стекла ему замахала рукой Луиза. За рулем сидел Робер.

Почти старинная развалюха со скрипом остановилась перед калиткой. Племянница вылезла из машины с пакетами и тут же их рассыпала под колеса «ситроена».

Прежде чем собирать раскатившиеся по земле груши, сливы и апельсины, Луиза принялась стряхивать с себя пыль, виновато и с каким-то непонятным восторгом глядя на Петра через темные очки.

На ней было новое короткое платье, очки с белой оправой и мужская, не по размеру, майка – по-видимому одолженная.

Укоризненно качая головой, Петр разглядывал рыдван. «Ситроен» давно утратил признаки цвета. Ржавчина проела крылья и края капота.

– Да как вам удалось на нем доехать?.. Куда смотрит полиция? – посетовал Петр.

– Честно говоря, думала – всё, не дотянем.

Племянница сняла очки, по-женски деловито осмотрелась вокруг, сделала шаг вперед и дала прильнуть к своим щекам.

– Видел бы твой отец... Он бы меня...

– Да папу уже не удивишь. Брат и не на таких колымагах заявлялся домой.

– На какой свалке вы его подобрали?

– Ничего себе – подобрали! Робер пять тысяч угрохал. И утверждает, что даром досталось.

– Пять тысяч? За такую развалину?

– Не верите?.. Да еще полдня торговался где-то в кафе. Сейчас он сам расскажет. Робер! Ну что ты застрял? Иди сюда, вылезай давай! С тобой ведь здороваются.

– Привет загородной буржуазии! – бросил тот, высунувшись из машины. – Иду-иду... Я тут одну штуку забыл прикрутить.

– А что Джимми? – спросил Петр.

– Тимми? – Луиза скользнула по нему быстрым взглядом. – На хлеб сегодня зарабатывает... Не в пример некоторым.

– Он работает?

– Кельнером. В американском баре. Вы бы видели... На него просто так ходят полюбоваться.

Выбравшись из машины, Робер вытер пятерни о грудь и протянул руку для рукопожатия:

– Пардон, Пэ, за вторжение. Как успехи? Всё цветочки стрижете?

Пожав гостю руку, Петр присел на корточки и стал собирать рассыпанные племянницей фрукты...

Вещи были внесены в дом. И уже в гостиной, предложив обоим по стакану воды, Петр стал излагать программу на день, которую успел составить, пока дожидался. На обед лучше всего было поехать в местный ресторан, недавно открывшийся в соседнем поселке. Сам он в нем побывать еще не успел, но соседи ресторан расхваливали. После обеда, по пути домой можно было сделать покупки, а затем прогуляться по лесу – на великах или пешком. А вечер же Петр предлагал провести на теннисных кортах.

Лес и корты племянница одобрила. Но ехать обедать в незнакомое место ей не хотелось. Луиза предпочитала накрыть стол в саду и даже взялась сама приготовить обед. А пока лучше было съездить за покупками в Дампиерр, через который они только что проезжали.

Намерение племянницы заняться обедом было неожиданностью, Петр еще ни разу не видел, чтобы она готовила, и он согласился не раздумывая.

Луиза поднялась в свою спальню и вернулась не переодевшейся, а перенарядившейся. Теперь на ней было более темное легкое платье, серые прозрачные колготки и черные полумужские туфли. Робер, поднявшийся на этаж следом за ней, запропастился. Они дожидались его в гостиной. Потом в коридоре. А затем, чтобы не топтаться в передней, Луиза предложила выйти на улицу.

Они сели в «БМВ», развернули машину, выехали на аллею и опять ждали, уже вопросительно переглядываясь, когда Робер, наконец, появился на выходе. Приблизившись к машине, тот стал вдруг умолять, чтобы они пересели в его рыдван: он всё еще не успел в нем что-то опробовать, и лучше было сделать это не на трассе, а на обычной дороге. К мольбам Робера вдруг присоединилась Луиза, перед приездом она ему что-то наобещала. Петр скрепя сердце сдался...

Робер вел посвистывая, вцепившись в руль прямыми руками, на поворотах подавал плечами то влево, то вправо. Вести машину по ровному шоссе с живописным пейзажем доставляло ему удовольствие. Сидя сзади, в центре сиденья, Петр с опаской следил за дорогой и не мог найти себе удобного положения. Пружина, торчавшая из спинки сиденья, мешала занять правую половину. Левая же оказалась завалена тряпьем, какой-то макулатурой. На ухабах машина дребезжала, и появлялся запах пыли.

Дав «ситроену» из его последних лошадиных сил одолеть главный местный подъем, Робер сбросил скорость. Рев двигателя наконец ослаб. Ровная, темная гладь дороги теперь плавно увлекала за собой вниз. Шоссе на спуске петляло, и лицо Робера приобрело выражение юношеской восторженности.

В этот миг двигатель издал непонятный звук, под капотом что-то дрогнуло, и повисла тишина. «Ситроен» катился вниз по спуску с заглушим двигателем. Странновато шелестели одни шины.

– По-моему, что-то с аккумулятором, – заключил Робер с неестественным хладнокровием. – А может, ремень полетел... у вентилятора? Или генератор придется менять, – добавил он, вырвав на обочину.

Робер вылез из-за руля, прошел к капоту, открыл его и взволнованно проголосил:

– Я так и думал, привод накрылся!

Петр с Луизой тоже выбрались из машины. Стараясь не смотреть друг на друга, все трое обступили пышущий жаром двигатель, всматривались в жирные и черные от масляной слизи внутренности отжившего все сроки автомобиля. Поломка оказалась «ерундовой». Робер был прав: лопнул приводной ремень к генератору. Только что толку от правильно поставленного диагноза? Машина сломалась посреди дороги, да еще и в выходные.

– Есть один древний трюк..., – сказал Робер. – Чтобы дотащить до ближайшего автосервиса, можно натянуть чулок. Вот на это колесико... – Он ткнул грязным пальцем в черную трубу под капотом и перевел взгляд на Луизу. – Говорят, километров тридцать можно протянуть на одном чулке...

Робер, а с ним и Петр – оба уронили глаза на ее худые, стройные ноги в прозрачных серых колготках. Grimаса плохо скрываемого раздражения, не сходящая с лица Петра, уступила место озадаченности.

– Да не волнуйся, я куплю тебе новые... Да честное слово! – поклялся Робер. – Сразу, как только вернемся.

– Новые... Где ты их купишь? – вспыхнула Луиза. – Ты уже когда-нибудь покупал такие вещи?

Обреченно вздохнув, она всё же прошагала к задней дверце, влезла на сиденье, ударила дверцей и уже оттуда проголосила:

– Только, пожалуйста, не надо глазеть по сторонам! Пэ, вас это тоже касается!

Петр отвернулся к обочине.

Косясь на него подобострастным взглядом, Робер соскочил на дно канавы, ссутулился, и под ногами у него зажурчало. Неторопливо оправившись, Робер поднялся на обочину и сказал:

– У меня был друг, на двадцать лет меня старше. Он мне говорил, что с возрастом, когда ходишь... ну по-маленькому... всё труднее не намочиться. Струйка становится слабее. Как вы считаете – правда?

Петр мелко закивал и сухо ответил:

– Не мерил.

– А вот теперь можно! – проголосила Луиза.

Они развернулись. Луиза держала перед собой длинный, мертво свисающий чулок.

– Держи, мастер... – Она протянула чулок Роберу. – Где купить, дам адрес.

Робер взял чулок, проверил его на просвет и, чем-то восторгаясь, заметил:

– А тонюсенький какой! Как вы думаете, Пэ, выдержит?

– Впервые слышу, чтобы чулки вращали генераторы, – сказал Петр. – Луиза, я предлагаю спуститься пешком. А наш юный друг... Дадим ему шанс проявить себя на деле.

– Да мне нужна-то всего минута! – заверил Робер.

Петр снедал Робера молчаливым взглядом, понимая, что не может или просто не имеет права обижаться всерьез, и только теперь вдруг заметил, что Луиза стоит перед ними в одном чулке. Шутки ради? Или опять из кокетства? Но сделанное открытие – сам факт, что племянница носит не колготки, а чулки – чем-то его поразило.

К большому удивлению Петра, Роберу удалось что-то смастерить. Он попросил помочь ему завести «ситроен», подтолкнув его под гору, и вскочил за руль. Обойдя машину, Петр и Луиза с большим трудом вытолкали автомобиль на проезжую часть. Метров десяти действительно хватило, чтобы «ситроен» взревел всем своим нутром.

Петр помог племяннице вскочить на ходу в переднюю дверцу, кое-как влез и сам в заднюю, оборвав на пиджаке все пуговицы. И когда «ситроен», прокатившись под гору уже больше километра, заглох в очередной раз, они находились уже на въезде в поселок. Впереди за перекрестком виднелись жилые дома и бензозаправочная станция, при которой имелась и ремонтная мастерская, оставалось надеяться, что мастерская открыта в выходные.

Машина по инерции дотянула до бензоколонки. Робер с победоносным видом вырулил прямо ко входу в крохотную замызганную контору.

На пороге показался рослый механик с черными пятернями, одетый в засаленный комбинезон.

– Заправиться?

– Заправиться тоже не помешает, – сказал Робер. – У вас ремешка не найдется для генератора?

Окатив клиентов презрительным взглядом, механик попросил открыть капот. Робер рванул на себя рычаг капота, выскочил из машины и, склонившись над открытым двигателем, показал пальцем на остатки чулка.

Механик тоже нагнулся над двигателем, что-то потрогал, подергал и пробурчал:

– Могу сделать... Только после обеда. Ждать будете?

– Нет, ждать не можем, – сказал Робер. – Моему другу нужно в больницу. – Он кивнул на Петра. – У него мать в больнице в тяжелом состоянии.

Покачав головой, Петр отвернулся в сторону.

– Сразу не получится, – всё же отказался механик. – У меня три машины на очереди. После обеда.

Из «ситроена» выбралась Луиза. Размашисто жестикулируя у здоровяка перед носом, она принялась звонко тараторить, что у нее тоже нет сил «торчать весь день в этом пекле, посреди улицы»...

Сварливость, на удивление, подействовала. Оглядев строптивную клиентку с ног до головы, малый в комбинезоне опять полез под капот, отмотал своими черными лапами ошметки чулка, зачем-то их всем показал, после чего в ухмылке его, пока он тараторил на ее голые ноги – благо Луиза хоть удосужилась снять в машине второй чулок, – появилось что-то снисходительное.

Вечером заморосило. Теннис был ни к селу ни к городу. Петр растопил камин. И все трое уютно расположились в гостиной и занимались каждый своим делом.

Луиза полулежала в кресле, придвинув его поближе к огню, и, уже просмотрев всю стопку журналов и книг, которые Петр принес ей из библиотеки, неподвижно смотрела в пламя – тем самым взглядом, отстраненным, в чем-то очень женским, который Петр замечал в ней каждый раз перед тем, как она исчезала из Гарна на несколько недель.

Робер разложил на диване доску с шахматами и разыгрывал партию сам с собой. Время от времени раздавался стук деревянной фигуры по доске, сопровождаемый руганью: «Да подавись ты!» Робер спохватывался, извинялся за шум, но через минуту опять забывался.

Просматривая томик статей о жизни Блеза Паскаля, Петр время от времени вставал с кресла, шурудил в камине щипцами, возвращался назад, пытался погрузиться в чтение, но не мог сосредоточиться.

Шел уже десятый час, когда Робер, ударив конем по доске, сгреб фигуры в сторону, зевнул, вскочил с дивана и, что-то пробормотав, ушел готовить себе очередную порцию любимого питья – смесь джина с соком.

– Пэ, по-моему, вам до чертиков надоел этот сброд, – произнесла Луиза в отсутствие Робера. – Я не права?

Петр поправил пальцем очки и успокоил ее:

– Что ты, милая! Всё в порядке. Милейший парень. Каким он должен быть в его годы? Луиза недовольно поерзала в кресле и, свалив на пол книги, проговорила:

– Лицемер несчастный! Хоть ты мне и дядя, а врун, каких свет не видывал! Если я к тебе не приезжаю одна, то только потому что... Хочешь знать – почему?

Племянница впервые обращалась к нему на «ты». Петр поднял на нее задумчивой взгляд, хотел что-то ответить, но промолчал.

– Потому что мне кажется, что ты всегда занят непонятно чем. Огородом или еще чем-то, – нескладно объяснила Луиза. – Ну хорошо, пусть не огородом – садом. Какая разница... Просто не хочется быть тебе обузой.

– Какой еще «обузой», Луиза? Ты стала часто повторять это слово. Я рад, что ты говоришь мне «ты». А то глупо получается. Очень рад! Это надо как-то отметить.

– Объяснились, называется... – Луиза усмехнулась и, уронив глаза в пол, принялась ковырять мизинцем подлокотник кресла.

– Братцы, а братцы! А не пойти ли нам подкрепиться куда-нибудь?! – провозгласил Робер, вернувшись в комнату.

Луиза окатила друга скептическим взглядом. Петр, словно не расслышав, поднял с пола толстый глянецовый журнал, распахнул его и стал разглядывать фотоснимки тропического леса, напечатанные во весь разворот.

– Только платить буду я..., – добавил Робер. – Пэ, давайте сразу договоримся. Чтобы не было потом выяснений.

И Петр и Луиза уставились на Робера с удивлением.

– Что это на тебя нашло? – спросила Луиза. – Когда ты успел разбогатеть? На чем?

– Вот так всегда! Что ни предложишь – когда, на чем? Ну если хочешь знать правду, мне отец пенсию повысил. Достаточное объяснение? Вас же не в «Серебряную башню»⁵ приглашают... Пэ, вы знаете что-нибудь симпатичное и попроще?

Луиза закатила глаза в потолок. Петр, пожав плечами, уточнил:

– Проще – этот как?

Робер и в самом деле намеревался расплачиваться за ужин. Петр действительно выбрал ресторан подешевле – захудалую местную пиццерию, находившуюся на одном из перекрестков близлежащего поселка.

После того как все трое заказали пищу, и для того, чтобы продегустировать сразу всё небольшое меню, решили взять разные блюда, ужин протекал в молчаливой атмосфере.

Дородный хозяин с черными, мелкими как пуговицы глазами – судя по внешности, итальянцем он был лишь по призванию – сильно пыхтел и не переставал метаться между их столом и стойкой бара, где успевал обхаживать двух местных шоферов, завернувших перекусить с дороги, которые попросили на аперитив по кружке пива и к нему соленого арахиса. Обращаясь к Петру как к главе застолья, хозяин предложил после пиццы мясное, но расхваливал почему-то не мясо, а бесплатную подливу.

Робер ограничился просьбой принести им еще одну бутылку красного французского «Меркюри» и десертное меню. А затем, взяв в руки принесенную и пока нераскупоренную бутылку, словно назло, принялся изучать этикетку, чем еще больше заставлял пыхтеть хозяина...

Наутро, встав около девяти часов, Петр обнаружил, что находится дома один. Не понимая, что произошло, – племянница не имела привычки вставать так рано, – он решил, что они уехали с Робером завтракать в кафе, чтобы не будить его шумом и дать отоспаться. Но, заглянув в спальню племянницы, он обнаружил, что ее вещей там нет. Может быть, уехали совсем?

⁵ Известный ресторан в Париже.

Петр спустился вниз, обошел весь дом. Луиза словно и не появлялась. И уже позднее он нашел у себя на рабочем столе записку следующего содержания:

Дорогой П., мы уехали. У меня дел невпроворот, да и надоело ломать комедию. Пожалуйста, не удивляйся тому, что я хочу тебе сказать! Если уж быть до конца откровенной: я бы хотела приезжать к тебе одна, без детского сада. Но ты, кажется, не понимаешь этого. В жизни нужно уметь рисковать... Не знала, как тебе это сказать. Главное, что сказала. Твоя Л.

Отложив листочек в сторону, Петр стоял перед столом как вкопанный. Он вдруг воочию видел перед собой племянницу. Вот она смотрит на него в упор, требуя от него своими серыми, насмешливыми глазами чего-то невозможного. Вот она стоит перед ним в одном сером чулке. Вот она обиженно косится в сторону, стараясь скрыть выражение своих глаз, потому что по ним всегда можно было прочесть ее мысли, – эта милая защитная ужимка водилась за ней с детства. И только теперь он до конца понимал, что означала вся эта мимика, паузы, недомолвки, которые он постоянно улавливал в свой адрес и которые часто ставили его в затруднительное положение, как бы ни старался он делать вид, что не обращает на них внимания и как бы ни старался не придавать всему этому значения.

Он не знал, как относиться к случившемуся, не знал, как реагировать. Действительно ли что-то случилось? В то же время с обжигающей ясностью он чувствовал, что вводит себя в заблуждение, травит себя ложью, как это случалось с ним уже столько раз в жизни. С той разницей, что раньше ощущение обмана по отношению к себе самому и ханжества по отношению к другим, сравнимые, пожалуй, с меньшим злом, допустимым, как принято считать, во избежание большего, выветривалось из головы быстро и безболезненно, а на этот раз преследовало неотвязно, и ему больше не удавалось отгородиться, уверовать в свою непогрешимость...

* * *

Всю вторую половину октября, выдавшегося на редкость мягким и недождливым, стояли теплые солнечные дни. Воздух был настоян на тех особых глубоких запахах тихой, сухой погоды, а горизонт на закате пылал еще настолько летним алым заревом, какое не всегда можно увидеть даже летом, что перелом в погоде и смена сезона казались неминуемыми. Осень свое отстояла. Держались последние ясные дни перед дождями и похолоданием...

Брэйзиер-младшая не появлялась в Гарне уже вторую неделю и даже не давала знать о себе. Петр собирался позвонить племяннице и узнать, чем вызвано ее очередное исчезновение, собирался объяснить с ней по-настоящему при первой же встрече, и не проходило дня, чтобы он не думал об этом. Но время шло. Он откладывал звонок со дня на день. Что-то его удерживало.

Собираясь пропесочить племянницу за ее выходку, Петр полагал, что соблюдение дистанции в отношениях отныне написано ему на роду, хотя заранее предостерегал себя от упрощений. Убогое морализаторство, очковтирательство, самообман – вот что было бы хуже всего. Разговор мог быть только честным и откровенным. Разница в возрасте, якобы навязывающая людям определенные нормы поведения и заставляющая их иметь определенные отношения, – довод лживый и шаткий. Он считал, что дружеский, но при этом лишенный снисхождения и до конца откровенный тон был единственной возможностью сохранить отношения в их первоначальном виде. Однако и тут он строил себе иллюзии. Что здесь было первоначальным?

Когда Луиза наконец объявилась – в конце недели, утром двадцатого октября, она позвонила в кабинет, – когда она как ни в чем не бывало протараторила в трубку, что собирается «нагряться» в Гарн на выходные, когда он услышал, что она звонит с Елисейских Полей, уже из

метро, откуда за полчаса должна была доехать до вокзала и там сесть в пригородный поезд, — он осознал, что в жизни его произошел глубокий и необратимый перелом.

Вслушиваясь в голос племянницы, Петр не произносил ни слова. Каким-то внешним, посторонним умом он вдруг понимал, что ждал этого звонка не для того, чтобы устроить ей разгон или затеять разбирательства. В этот момент в нем еще хватало трезвости для понимания, что единственно здоровой реакцией на звонок было бы отказать ей в приезде, сказать это простыми, ясными и необидными словами и тут же назначить встречу где-нибудь в городе, чтобы обсудить всё с глазу на глазу в более нейтральной, не домашней обстановке. Однако язык не поворачивался.

— Пэ, давай не будем усложнять себе жизнь. Она и без того сложная... такая сложная, что плакать хочется, — нарушила Луиза молчание. — А хочешь, я на такси доеду? Зачем тебе тащиться на вокзал?

— Нет, я приеду, — спохватился он. — Дождись меня. На обычном месте...

Новое серое платье, поверх него бежевый жакет на металлических пуговицах, уже знакомые дорогие черные туфли мужского фасона... — Луиза была одета неброско, но с умением, выглядела посвежевшей, изменившейся и опять повзрослевшей. Но это впечатление было вызвано, скорее всего, переменой в прическе: по-новому низко закрученный на затылке узел держался при помощи черной бархатной розочки.

Замедлив перед ней шаг, Петр поймал на себе вопросительно-испуганный взгляд. Ни ему, ни ей не удалось перебороть улыбку. Просветлев всем лицом, Луиза подняла с асфальта свой кожаный рюкзак. Петр выхватил его, вздохнул, показал рукой в центр стоянки, и они зашагали к машине.

Стараясь заполнить чем-нибудь молчание — в машине, в тесном замкнутом пространстве вновь появилась натянутость, — Петр принялся рассказывать о новых насыпях, появившихся за это время вдоль леса и дороги, из-за которых уже вторую неделю приходилось делать объезд через холмы, дальней дорогой, тем самым маршрутом, по которому Луиза любила добираться в Гарн от вокзала. Гораздо проще было бы сказать — по той дороге, на которой они недавно застряли с Робером. Но всякое упоминание о том дне вдруг казалось лишним, разоблачающим.

Требовались усилия, чтобы избегать ее взгляда. Поднять на Луизу глаза было выше его сил, хотя мгновениями он удивлялся, с какой внешней легкостью ему удавалось скрывать творившуюся внутри душевную смуту.

Все вдруг оказывалось куда более противоречивым и неожиданным, чем четверть часа тому назад, когда он только ехал на вокзал и в тот момент заставлял себя не думать ни о чем всерьез. Смесь родственного и плотского, ужасавшая именно тем, что не поддавалась никакой серьезной оценке или самоконтролю, но будоражившая до последней жилки, не ущемалась в сознании. Ему казалось, что нечто подобное должен испытывать человек, только что приговоренный к максимальной мере наказания — к какой-нибудь столь вечной и столь мучительной каре, что в нее просто невозможно поверить. Как ему поверить в то, что это могло случиться именно с ним?

Казалось необходимым найти хотя бы название переполнявшим его чувствам. И он не знал, на чем остановиться, не мог прийти к ясности. Положа руку на сердце, внутренне он уже отрешивался от нее, от ясности. Отчего, вероятно, и ловил себя на другом неприятном чувстве, что даже в такой двусмысленной ситуации он не теряет прежней уверенности в себе и в своих поступках...

Въехали в Дампиерр. На узких тротуарах было людно. Торговые ряды, выстроившиеся вдоль залитых солнцем фасадов домов, сама приземистость которых отдавала чем-то временным, опереточным, ломились от фруктов и овощей. Здесь же торговали сырами и всякой всячиной. По случаю субботы товар предлагался в лотках прямо посреди улицы.

Петр свернул на выложенную булыжником покатуемую площадь и запарковал машину. Они выбрались на площадь и не спеша спустились к главной улице. Петр предложил войти в кафе с табачным отделом за сигаретами. Луизе садиться не хотелось. У пустой стойки под медленно вращающимся вентилятором Петр заказал два стакана минеральной воды с сиропом из мяты. Вместе наблюдали за двумя по-летнему одетыми завсегдаятами в шортах и в майках, которые играли во французский бильярд в соседнем зале, с азартом гоняя по зеленому сукну три разноцветных шара.

Выцедив полстакана изумрудной жидкости, Петр предложил сделать мелкие покупки для дома. Они рассчитались и вышли на улицу.

Пройдясь вдоль продуктовых магазинов, они задержались у округлых стеклянных прилавков мясной лавки, где Петр, сам не зная зачем, решил купить готовое заливное из телячьих ножек. Луиза, едва заведя под стеклом витрины это блюдо, с отвращением отвернулась, бросив на весь магазин:

– Пэ! Да это же копыта!

Стоило ему после этих слов перевести взгляд на витрину, как он с удивлением обнаружил, что вид заливного производит на него то же самое впечатление. Действительно копыта! И блюдо действительно больше не вызывало ничего другого, кроме отвращения.

Он всё же вошел внутрь и купил ростбиф. После чего они зашли в булочную за хлебом, остановились купить газету, затем зеленый салат и пакет крупных черно-фиолетовых слив. Осталось купить переходник для садового шланга в хозяйственном магазине, о чем садовник напоминал всю неделю.

Пока Петр выбирал нужный, Луиза разглядывала тесно заставленные полки с инструментами, которые производили на нее до странности сильное впечатление. Вдоль витрин были выставлены электропилы, рубанки, точильные и полировальные устройства. Седовласый, пожилой хозяин с апоплексическим от алкоголизма лицом грузно шастал туда-сюда, припадая на правую ногу и вынося из подсобки то одно, то другое. Однако все, что бы он ни предлагал, не подходило. Петр просил показать ему металлические переходники. Хозяин же приносил пластмассовые и уже начинал обижаться на привередливость.

Они вышли на улицу и уже почти вернулись к машине, когда с порога одного из угловых магазинов на них вылетел Сильвестр-муж.

Узнав Петра, Сильвестр от неожиданности едва не оступился с бордюра. На нем не было лица. Петр слышал, что жизнь Сильвестров сотрясали ссоры, что Женни Сильвестр, стараясь отойти от них, уехала в Страсбург к родителям.

– Ты как туча, – сказал Петр, пожимая соседу руку.

Сильвестр прильнул щетиной к щеке Луизы и, вскинув на нее мелкие, темные глаза, сделал попытку улыбнуться, но у него вышла кислая гримаса.

– Остановился по дороге, – вздохнул Сильвестр и зачем-то показал содержимое своего пакета с покупками.

– Женни всё в Страсбурге?

Сильвестр кивнул:

– Сын тоже к ней поехал... На следующей неделе должна вернуться.

– Я бы не портил себе кровь на твоём месте. Всё образуется, поверь мне! – подбодрил Петр.

Окинув Петра непонимающим взглядом, Сильвестр уступил Луизе дорогу. Она прошла вперед, и все трое медленно пошли по тротуару в сторону площади, где Сильвестр запарковал свой «опель».

– Архитектор, кстати, тоже умотал с утра... Дочь повезли в Бордо, – сказал Сильвестр. – Он заходил к тебе. Да ты уехал. Он что-то хотел у тебя попросить. Не помню что...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.